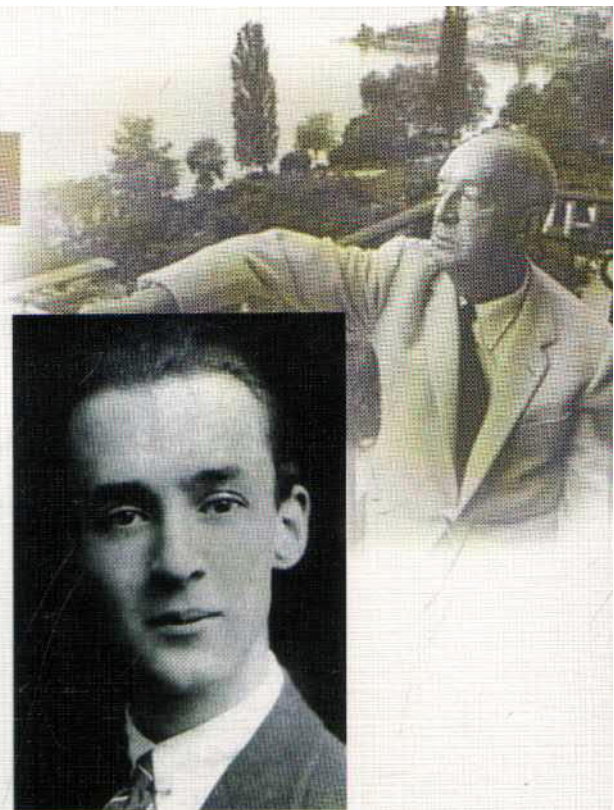


Анатолий  
ЛИВРИ



# НАБОКОВ- НИЦШЕАНЕЦ

# РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

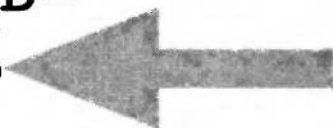


ИСТОРИЧЕСКАЯ  
КНИГА



Анатолий ЛИВРИ

НАБОКОВ-  
НИЦШЕАНЕЦ



Санкт-Петербург  
АЛЕТЕЙЯ  
2005



УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6  
Л55

**Ливри А.**

Л55 Набоков-ницшеанец. — СПб.: Алетейя, 2005. — 240 с. —  
(Серия «Русское зарубежье. Источники и исследования»).

ISBN 5-89329-708-3

Книга посвящена ранее неисследованным аспектам творчества Владимира Набокова. Взаимосвязь идей, нашедших свое выражение в творчестве Фридриха Ницше и Владимира Набокова, раскрывается на фоне масштабного историко-философского и культурологического исследования значимости для современной европейской цивилизации феномена античной трагедии, идейного наследия Сократа, темы острого кризиса духовных ценностей («заката Европы»). Полемическая заостренность тезисов автора позволяет наметить «болевые точки» современных гуманитарных наук о человеке.

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 5-89329-708-3



© А. Ливри, 2005  
© Издательство «Алетейя» (СПб ), 2005  
© «Алетейя. Историческая книга», 2005

ВСТУПЛЕНИЕ



■  
Посвящаю  
моей  
жене



«Вам, смелым искателям,  
испытателям и всем, кто когда-  
нибудь плывал под коварными  
парусами по страшным морям, – вам,  
опьянённым загадками, любителям  
сумерек, чья душа привлекается  
звуками свирели ко всякой  
обманчивой пучине: – ибо вы  
не хотите нащупывать нить  
трусливой рукой и, где можете вы  
угадать, там ненавидите вы  
делать выводы»

Фридрих Ницше  
«Ессе homo»





## ВСТУПЛЕНИЕ

*Мне нужны живые спутники,  
которые следуют за мною, потому  
что хотят следовать сами за собой –  
и туда, куда я хочу.*

**Фридрих Ницше.** *Так говорил Заратустра*

В данной работе я ставлю перед собой цель не только доказать, что писатель Набоков превосходно знал труды философа Фридриха Ницше, но и возьму на себя смелость утверждать новый и, несомненно, скандальный тезис, а именно – философия Ницше является для Набокова неким подобием нити Минотавровой сестрицы, и на протяжении всей своей творческой жизни Набоков, словно Тесей, не выпускал из рук подаренную царевной путеводную нить. И если Набоков никогда прямо не заявляет о своей приверженности доктрине Ницше, то он поступает как истинный ницшеенец. Ведь все «добрые» вещи и мысли должны тщательно скрываться под красочной карнавальной маской в обмен на неслыханное удовольствие одурачить чрезмерно разумных.<sup>1</sup> А заводя речь о таинственном и сокровеннейшем, следует, беря пример с Гераклита, обращаться к избранным разгадчикам опьяняющих тайн: *«Владыка, чьё прорицалище существует в Дельфах, – не говорит и не скрывает, но означает».*<sup>2</sup>

Если, начиная с первого своего романа (*Машенька*) и до написанных уже по-английски поздних

---

<sup>1</sup> «Всё глубокое носит маску; самые глубокие вещи питают даже ненависть к образу и подобию» (Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла* // Собр. соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 272).

<sup>2</sup> Гераклит Эфесский. *Фрагменты*. М., 1910. С. 35. Hermann Diels. Walther Kranz, *Fragmente der Volsokratiker*, 93 [11], Berlin-West, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung // 1951, t. 1, p. 172. См.: *Фрагменты ранних греческих философов*. Ч. 1. М., 1989. Перевод на русский язык Андрея Лебедева.

произведений, Набоков проявляет себя истинным ницшеанцем, то все заветные мысли, чаяния, любовь и ненависть немецкого философа должны быть выражены во всей совокупности набоковского творчества. Влияние философской доктрины Ницше на Набокова было настолько велико, что в моём относительно объёмном труде я смогу привести лишь небольшую часть примеров этого влияния.



Видение Фридрихом Ницше античности остаётся по сей день модернистским и скандальным, способно ошарашить ученых педантов, любителей заученых фраз. Вместе с тем, необходимо заметить, что если появление *Рождения трагедии* вызвало не только отрицательную реакцию Виламовица-Мёллендорфа, но и удивление Ричля, близкого Фридриху Ницше, то в настоящее время профессора кафедр классической филологии не считают зазорным ссылаться в своих трудах одновременно и на Виламовица и на Ницше.<sup>1</sup> И скоро, очень скоро, лет эдак через двести, они наконец-то поймут, что можно обойтись и одним Ницше.<sup>2</sup>

Тот факт, что Набоков был адептом доктрины Ницше, означает, что Набокову было близко не только вечно-модернистское ницшеанское видение античности, но и такие, выкованные в часы ночного уединения или же, найденные философом на горной тропе, понятия, как, например, «сверхчеловек», «добрый европеец», «александрийский человек», «дух тяжести», «теоретический человек» и проч. Указанное выше утверждение означает и то, что Набокову стал близок взгляд Фридриха Ницше на современный мир, т. е. его отношение к равенству, к различным т. н. «свободам», к женской эмансипации, к дарвинизму, к социалистической тирании и предшествующей ей демократии и проч., проч.

<sup>1</sup> См., например: Jean Humbert. *Notices in Homère. Hymnes*, Paris, Éditions des Belles Lettres, 1976 (1936), p. 165, n° 1, 2. Он ссылается как на Виламовица, так и на Ницше.

<sup>2</sup> «Заблестать через триста лет – моя жажда славы», – написал философ двенадцать десятилетий назад. (Ницше Ф. *Злая мудрость* / Перевод К. А. Свасьяна // Собр. соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 727).

Небезразличны были Набокову и те надежды, которые Ницше возлагал на европейцев, а именно: мечта философа о воссоздании новой духовной аристократии Старого континента, о «медитерранизации» Европы и, конечно же, о возвращении к нам из Азии трагедии, которую однажды некий «злой» дух – плебейский дух разумного диалектика-«учёного» – изгнал из Греции. Обо всём этом пойдёт речь в этой книге.



В течение более чем двух десятилетий Ницше разрабатывал образ своего героя – *сверхгероя*, описывая в мельчайших деталях всё, что необходимо для духовного и физического совершенствования творца. Этот герой часто предстаёт как *alter ego* самого философа. Чрезвычайно подробно Ницше объясняет, как такой герой должен вести себя с противниками и союзниками, как должен относиться к работе и отдыху, к женщине и ребёнку, как он должен читать, есть, пить, совокупляться, заниматься физическими упражнениями – для достижения и поддержания необходимой, т. е. наивысшей, творческой *сверхформы*: «...маленькие вещи – питание, место, климат, отдых, вся казуистика себялюбия – неизмеримо важнее всего, что до сих пор почиталось важным. Именно здесь надо начать переучиваться».<sup>1</sup>

В приведённой выше цитате Ницше речь идёт о том самом *великом здоровье*, которого добивается *сверхтворец* исключительно для того, чтобы *расплескать* это *Übergesundheit* на страницах своих произведений чтобы ему, творцу – выражаясь поницшевски, – было что *терять* и чтобы добровольная потеря жизненных сил не привела его к летальному исходу: «**Великое здоровье. Мы, новые, безымянные, труднодоступные, мы, недоноски ещё не проявленного будущего, – нам для новой цели нужно и новое средство, именно новое здоровье, более крепкое, более умудрённое, более цепкое, более отважное, более весёлое, чем все быв-**

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Ессе homo* / Перевод Ю. М. Антоновского // Собр. соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 720. Курсив Ницше.



шие до сих пор здоровья. Тот, чья душа жаждет пережить во всем объёме прежние ценности и устремления и обогнуть все берега этого идеального "средиземноморья", кто ищет из приключений сокровеннейшего опыта узнать, каково на душе у завоевателя и первопроходца идеала, равным образом у художника, у святого, у законодателя, у мудреца, у учёного, у благочестивого, у предсказателя, у пустынножителя старого стиля, – тот прежде всего нуждается для этого в великом здоровье – в таком, которое не только имеют, но и постоянно приобретают и должны приобретать, ибо им вечно поступаются, должны поступаться!..»<sup>1</sup>

В данной работе я продемонстрирую, как Набоков, следуя Ницше, описывает воспитание, повседневную жизнь и творческое созидание своих героев, «здоровых» или же, по крайней мере, *выздоровливающих* (в ницшевском смысле) персонажей.



«Философа контрастов» Фридриха Ницше современные журналисты и их двойники-ученые, еще более сгорбленные от многолетнего перетаскивания библиотечных книг, единогласно обвинили бы в преступлениях против политкорректности и упекли бы его за решетку. В данной работе будут изучены любопытные для ницшеведа аспекты происхождения «неполиткорректного» (т. е. не-плебейского) мировоззрения философа, но также и то, как ницшевские понятия «добрый»<sup>2</sup> и «дурной»,<sup>3</sup> «белоко-

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Весёлая наука* / Перевод К. А. Свасьяна // Собр. соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 707. Курсив Ницше.

<sup>2</sup> «То были, скорее, сами "добрые", т. н. знатные, могущественные, высокопоставленные и возвышенно настроенные, кто воспринимал и оценивал себя и свои деяния как хорошие, как нечто первосортное, в противоположность всему низкому, низменно настроенному, пошлomu и плебейскому». (Ницше Ф. *К генеалогии морали* / Перевод К. А. Свасьяна // Собр. соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 416).

<sup>3</sup> «Не тот, кто причиняет нам вред, а только тот, кто возбуждает презрение, считается дурным. В общине "хороших" добро наследуется; дурной не может вырасти из столь хорошей почвы». (Ницше Ф. *Человеческое, слишком человеческое* / Перевод С. Л. Франка // Собр. соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 270).

жий» и «чернокожий»<sup>1</sup>, «аристократ»<sup>2</sup> и «простолюдин»<sup>3</sup> и т. д. и т. п. постоянно противопоставляются друг другу и находятся в перманентной и непримиримой вражде на страницах произведений ницшеанца Набокова.



Настало время задаться следующим необходимым вопросом: если Набоков создаёт образ противника для всех своих героев-ницшеанцев, кто же этот враг, иначе говоря: кого же Ницше почитал своим наиглавнейшим супостатом? Немецкий философ посвящает своему врагу немало страниц. Своим наиопаснейшим недругом Ницше почитает Сократа – убийцу трагедии, создателя оптимистической доктрины, диалектика,<sup>4</sup> «перво-

<sup>1</sup> «В слове *κακός*, как и в *δειλός* (плебей в противоположность *ἀγαθός*), подчёркнута трусость: это, по-видимому, служит намёком, в каком направлении следует искать этимологическое происхождение многозначно толкуемого *ἀγαθός*. В латинском языке *talus* (с которым я сопоставляю *μέλας*) могло бы характеризовать простолюдина как темнокожего, прежде всего как темноволосого («*hic niger est*» –), как доарийского обитателя италийской почвы, которой явственно отличался по цвету от возобладавшей белокурой, именно арийской расы завоевателей; по крайней мере, галльский язык дал мне точно соответствующий случай – *fin* (например, в имени *Fin-Gal*), отличительное слово, означающее знать, а под конец – доброго, благородного, чистого, первоначально блондина, в противоположность тёмным черноволосым аборигенам» (Ницше Ф. К генеалогии морали. Там же. Т. 2. С. 419).

<sup>2</sup> «...в хорошей и здоровой аристократии существовало то, что она чувствует себя не функцией (всё равно, королевской власти или общества), а смыслом и высшим оправданием существующего строя – что оно поэтому со спокойной совестью принимает жертвы огромного количества людей, которые должны быть подавлены и принижены ради неё до степени людей неполных, до степени рабов и орудий» (Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Там же. Т. 2. С. 380).

<sup>3</sup> «Красноречивейшим примером последнего служит само немецкое слово *schlecht* (плохой), тождественное с *schlicht* (простой) – сравни *schlechtweg* (запросто), *schlechterdings* (просто-напросто) – и обозначавшее поначалу простого человека, простолюдина, куда без какого-либо подозрительного косящего смысла, всего лишь как противоположность знатному» (Ницше Ф. К генеалогии морали. Там же. Т. 2. С. 418).

<sup>4</sup> «Мои читатели, должно быть, знают, до какой степени я считаю диалектику симптомом декаданса, например, в самом знаменитом случае: в случае Сократа» (Ницше Ф. *Ессе homo*. Там же. Т. 2. С. 698).

образ теоретического человека»,<sup>1</sup> типичного декадента<sup>2</sup> и проч.<sup>3</sup> То есть, того самого Сократа, который некогда заявил о добродетели знающего: «*Но таким путем легче всего обнаружится, что добродетели можно научить. Ведь если бы добродетель была не знанием, а чем-нибудь иным, как пытается утверждать Протагор, тогда она, ясно, не поддавалась бы изучению; теперь же, если обнаружится, что вся она – знание (на чем ты так настаиваешь, Сократ), странным было бы, если бы ей нельзя было обучить*».<sup>4</sup>

Вот как Фридрих Ницше интонирует в *Рождении трагедии* тезис Сократа: «...то, что мы можем теперь ближе подойти к эстетическому сократизму, верховный закон которого гласит приблизительно так: “Все должно быть разумным, чтобы быть прекрасным” – как параллельное положение к сократовскому: “Лишь знающий добродетелен”»<sup>5</sup>.

Ницше настолько враждебно настроен по отношению к Сократу, что в предисловии к *По ту сторону добра и зла* он задаётся довольно жестоким вопросом: «...не заслужил ли [Сократ – А. Л.] своей цыкуты?»<sup>6</sup>, и в моей книге я предоставлю возможность ницшеанцу Набокову самому ответить на этот вопрос. Но если антагонистом ницшеановского героя является афинянин Сократ, то у Набокова его Сократ вовсе не грек, а русский. И в моей книге я покажу, как Николай Гаврилович Чернышевский, персонаж четвёртой главы *Дара*,

<sup>1</sup> «Весь современный нам мир бьётся в сетях александрийской культуры и признаёт за идеал вооружённого высшими силами познания, работающего на службе у науки теоретического человека, первообразом и родоначальником которого является Сократ» (Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки* // Собр. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 126. Курсив Фридриха Ницше).

<sup>2</sup> «...Сократ, узанный впервые как орудие греческого разложения, как типичный *décadent*» (Ницше Ф. *Ессе homo*. Там же. Т. 2. С. 729).

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 104. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>4</sup> Платон. *Протагор*, 361, b. Перевод В. С. Соловьева // Собр. соч.: В 3 т. М., 1971. Т. 1. С. 252.

<sup>5</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 104. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>6</sup> Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла*. Там же. Т. 2. С. 240.

превращается Набоковым в русскую ипостась афинского диалектика, именно такого, каким он предстаёт у самого Ницше. В этом романе Набоков прибегает к пародии и представляет Чернышевского «обезьяной» Ницше-Заратустры, травестирующей жизнь и принципы философа. Помимо целой галереи неприятных обличей самого Чернышевского страницы набоковских произведений кишат неисчислимым множеством персонажей, которых можно назвать предшественниками и наперсниками русского Сократа, а также продолжателями его разрушительного дела. Ведь Чернышевский – не просто основатель соцреализма, как писала в своей книге о Набокове Доминик Десанти,<sup>1</sup> он есть нечто большее – герольд реализации в России оптимистической доктрины Сократа.

Как бы то ни было, всех их – будь то вдохновители, соратники или же ученики Чернышевского – Набоков делает носителями ценностей, противоположных созидательной добродетели Фридриха Ницше.



Перед тем как приступить к изложению моих тезисов, необходимо задаться вопросом: когда же Набоков познакомился с работами Ницше?

Согласно Брайану Бойду, еще отец Владимира Набокова во время тюремного заключения изучал труды Ницше (и, возможно, завещал сыну интерес к ницшеанству): «Он [В. Д. Набоков – А. Л.] воспользовался своим тюремным заключением, чтобы заняться Достоевским, Ницше, Кнудом Гамсунном, Анатолем Франсом, Золя, Гюго, Уайльдом и проч.»<sup>2</sup>.

Помимо влияния отца нельзя не отметить и другого источника сведений о Ницше для юного Набокова, а именно – появление в России на рубеже XIX и XX веков множества работ, посвящённых

---

<sup>1</sup> Desanti D. *Vladimir Nabokov, essais et rêves*. Paris, Éditions Julliard, 1994. P. 109–110.

<sup>2</sup> Brian Boyd. *Vladimir Nabokow. The Russian years*, London, Chatto and Windus, 1990. P. 76. Перевод автора.

немецкому философу, таких, например, как *Идея добра у Толстого и Ницше* или *Достоевский и Ницше* Льва Шестова, *Идея сверхчеловека* Владимира Соловьёва, *Ницше и Дионис* Вячеслава Иванова и, наконец, *Фридрих Ницше* Андрея Белого, любимого Набоковым. Влияние отца, книги символистов и стали возможной причиной того, что в Ялте семнадцатилетний Владимир Набоков, серьёзно готовясь к нелёгкой профессии изгнанника, обходит своим вниманием «С-ских» мещанок и занимается трудами апатрида-Ницше<sup>1</sup> наряду со своими любимейшими предметами: «Он [Владимир Набоков – А. Л.] нашёл себе в Ялте учителя латинского языка и составил себе список авторов для чтения в библиотеке: этномология, дуэльная литература, исследования, натуралисты, Ницше».<sup>2</sup>

Можно предположить, что уже в это время Набоков задумывается над одним из важнейших аспектов ницшеанства – доктриной вечного возвращения. Эта Гераклитова мысль, неоднократно воспетая Заратустрой, была прочувствована молодым Набоковым настолько глубоко, что уже в своём первом романе, завершённом всего через восемь лет после памятного пребывания в Ялте, писатель вкладывает её в уста Ганина: «По какому там закону ничего не теряется, материю истербить нельзя, значит, где-то существуют и по сей час щепки от моих рюх и спицы от велосипеда. Да вот беда в том, что не соберёшь их опять, – никогда. Я читал о “вечном возвращении”... А что, если этот сложный пасьянс никогда не выйдет во второй раз? Вот... чего-то никак не осмыслю... Да: неужели всё это умрёт со мной? Я сейчас один в чужом городе. Пьян. От коньяка и пива трещит башка».<sup>3</sup>

<sup>1</sup> «С пасхи 1869 по 1878 г. я жил в Базеле; мне пришлось отказаться от моего немецкого подданства, так как, будучи офицером (конный артиллерист), я не смог бы отклоняться от слишком частых призывов на службу, не нарушая академических обязанностей» (Письмо к Г. Брандесу от 10 апреля 1888 года. Friedrich Nietzsche – *Sämtliche Briefe, Kritische Studienausgabe*: In 8 Bde/ Hrsg. Von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München, 1986. К. А. Свасьян. *Фридрих Ницше: мученик познания* // Ницше Ф. Собр. соч. в 2 тт. М., 1990. Т. 1. С. 5.

<sup>2</sup> Brian Boyd. Op. cit. P. 150.

<sup>3</sup> Набоков В. *Машенька* // Собр. соч.: В 4 т. М.: Правда, 1990. Т. 1. С. 59.



Обычно в предисловиях к монографиям принято расшаркиваться перед целым сонмищем «специалистов», выпустивших ранее работы по сюжету, о котором пойдёт речь. А потому сознательный и усердный славист с вытертыми от постоянного преклонения коленками (проницательный лондонский сыщик объяснял доктору Ватсону: «Я хотел видеть его колени») старательно забивает свою сократическую головушку сухими изысканиями плагиаторов-предшественников. Я же воспользуюсь благотворным советом Ницше неоднократно перечитывать немногие «добрые» книги вместо того, чтобы пичкать себя чрезмерно тяжелым для творчеством балластом: *«Впрочем, я почти всегда захожу убежище в одних и тех же книгах, в небольшом их числе, именно в доказанных для меня книгах. Мне, может быть, не свойственно читать много и многое: читальная комната делает меня больным»*.<sup>1</sup>

А те немногочисленные труды исследователей, которые я изучил, появятся *polens volens* на страницах моей книги, которая в свою очередь не может не стать абсолютно новым подходом к изучению творчества Ницше и Набокова, ибо я предлагаю «избранным» (а ведь именно для них и написан этот труд!) читательницам, измученным стерильными компиляторами, этими заплочных дел мастерами, помаленьку кнутобойничающими в картезианских застенках наших университетов, я предлагаю им прогуляться и обогнуть гористые берега «идеального средиземноморья»,<sup>2</sup> взглянуть на творчество Ницше и Набокова с единственно верной точки зрения – с точки зрения художника, артиста, пророка.



<sup>1</sup> Ницше Ф. *Эссе ното*. Там же. Т. 2. С. 712.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Веселая наука*. Там же. Т. 1. С. 707.



НАБОКОВ  
И ПОСЛЕДНИЙ  
ЧЕЛОВЕК

«Напоминаю также, что сегодня  
вечером идет с громадным успехом  
злободневности опера-фарс  
«Сократись, Сократик»...»

Владимир Набоков,  
«Приглашение на казнь»









## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### ДЕТСТВО РУССКОГО СОКРАТА

*Приближается время самого презренного человека, который не сможет уже презирать самого себя. Смотрите! Я показываю вам последнего человека.*

**Фридрих Ницше.** *Так говорил Заратустра*

В первой части анализируется набоковское описание детства Чернышевского, где я подчёркиваю общие биографические черты юного русского Сократа и Ницше-ребёнка. Без всякого сомнения, подобное сравнение карикатурно; Набоков намеренно создаёт контраст, выставляя напоказ то некое общее, что объединяет Ницше и Чернышевского – их детство. Затем, вплоть до конца четвёртой главы романа, описывает исключительно то, что их различает – приём опытного боксёра (коим и был Набоков), который намеренно привлекает внимание своего противника, с одной стороны, чтобы нанести сокрушительный удар – с другой.

Итак, в *Даре* используются подлинные биографические черты Ницше и Чернышевского, тщательнейшим образом отсортированные, – как подчёркивает сам писатель, – *находчивой*<sup>1</sup> судьбой. И Набоков не таясь сам вручает избранной читательнице скальпель для препарирования своих произведений. Он называет это «*многопланностью мышления*»,<sup>2</sup> именно в этой способности литератора написать не банальную, презираемую самим Набоковым *biographie romancée à la Стефан Цвейг*,<sup>3</sup> а сотворить эдакий бурлящий, наваристый бульон из подлинных фактов и авторской

<sup>1</sup> См.: Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 328.

<sup>2</sup> Там же. С. 146.

<sup>3</sup> Там же. С. 171.

фантазии и заключается беспорный талант писателя и гений артиста – приём, названный тугодумными литературоведами псевдоавтобиографическим.

Отец Чернышевского, действительно, был священником («...отец [Чернышевского – А. Л.], добрейший протоиерей, не чуждый садовничеству...»<sup>1</sup>), точно так же, как и отец Ницше; и в автобиографическом *Ессе ното* философ неоднократно обращается к этому факту: «Мой отец, родившийся в 1813 году, умер в 1849. До вступления в обязанности приходского священника общины Рёккен близ Лютцена он жил несколько лет в Альтенбургском дворце и был преподавателем четырёх принцесс».<sup>2</sup>

Набоков внимательно читал Ницше, и вот еще одно из выловленных мною в набоковско-ницшевском океане доказательств того, что писатель хорошо знал *Ессе ното*.

Автобиография Ницше состоит из 14 глав – это, кстати, является возможным отсылком к цифре «14», лежащей в основе *Священного Писания*. Неслучайно мы находим в *Евангелии от Св. Матфея*: «И так всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов».<sup>3</sup>

Пилатовское «Се человек»<sup>4</sup> (*Ессе ното*) подводит итог земному существованию Христа, а вместе с ним и библейской эпопее, начавшейся с Авраама. Это и объясняет выбор Фридрихом Ницше названия для описания своей жизни, которую тот, без ложной скромности, почитал превосходящей все прочие: «Так никогда не писали, никогда не чувствовали, никогда не страдали...»<sup>5</sup>

Набоков поступает точно так же. В *Других берегах* он повествует о своей подошедшей к концу

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 191.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Ессе ното*. Там же. Т. 2. С. 701.

<sup>3</sup> Библия, Новый Завет, От Матфея Святое Благовествование, гл. 1, 17, Берлин, Издание Британского и Иностранного Библейского Общества, 1922. С. 1.

<sup>4</sup> Библия, Новый Завет, От Иоанна Святое Благовествование, гл. 19, 5, Берлин, Издание Британского и Иностранного Библейского Общества, 1922. С. 115.

<sup>5</sup> Ницше Ф. *Ессе ното*. Там же. Т. 2. С. 752.

жизни русскоязычного писателя, знаменуя тем самым своё прощание со Старым Континентом,<sup>1</sup> полностью попавшим под власть социалистических идей обеих тенденций – национальной, гитлеровской, и не менее смертоносной, по-гадючьи живучей, интернациональной, марксистской. И точно так же как Ницше *Ессе homo*, Набоков разделяет свои биографические *Другие берега* на 14 глав.



Юный Чернышевский схож с Ницше-ребёнком не только тем, что их отцы носили священнический сан, – слишком легковесно для подлинного артиста, – но и ангельской внешностью: *«Волосы с рыжинкой, веснушки на лобике, в глазах ангельская ясность, свойственная близоруким детям. Кипарисовы, Парадизовы, Златорунные не без удивления вспоминали потом (в тиши своих дальних и бедных приходов) его стыдливую красоту: херувим...»*<sup>2</sup>

Сравним это с воспоминанием «однокорытника» Фр. Ницше: *«...атмосфера “святости” и “праведности” оведала будущего “безбожника” с детских лет. Уже одному гимназическому товарищу, впрочем довольно скептическому во всем остальном, приходит в голову сравнение с “двенадцатилетним Иисусом в храме – “маленький пастор”, – это прозвище пристало к нему ещё с самых первых классов школы...»*<sup>3</sup>

На этом и заканчивается сходство подлинной биографии Ницше с биографией Чернышевского из четвёртой главы *Дара*. С этого момента их жизненные пути расходятся в диаметрально противоположные стороны. Русский Сократ превращается в подлинного «Анти-Ницше», а Набоков приступает к его описанию.

<sup>1</sup> *«Кроме скуки и отвращения, Европа не возбуждала во мне ничего»* (Набоков В. *Другие берега* // Собр. соч. в 4 тт. М., 1990. Т. 4. С. 292).

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Там же. Т. 3. С. 191.

<sup>3</sup> Свасьян К. А. *Примечания* в кн.: Ницше Ф. Собр. соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 790–791.



В предисловии к *Ессе ното* Ницше приравнивает свои мучения к страданиям Диониса-Загрея («Так никогда не писали, никогда не чувствовали, никогда не страдали: так страдает бог, Дионис»<sup>1</sup>), заявляет также о себе как об изобретателе дифирамба, как вида песнопений («...уже своим названием намекающих <...> на рождение Диониса»<sup>2</sup>), лежащих, согласно Аристотелю, в основе трагедии<sup>3</sup>, именно: «Я – изобретатель дифирамба». А в последней фразе *Ессе ното* философ недвусмысленно заявляет о себе как о Дионисе: «Дионис против Распятого».<sup>4</sup>

Не потому ли ницшеанец Набоков не может не подчеркнуть в *Даре*, что его Чернышевский – это еще и анти-Дионис. Вспомним, что вода – это подлинная стихия Диониса. Из *Илиады* мы узнаём, что именно в воде Дионис скрывается от преследований Ликурга<sup>5</sup>; согласно знаменитой росписи киллика Эксекия, именно по морю приближается Дионис к берегам Греции; в *Гомеровских гимнах* море является союзником Диониса, захваченного тирренскими пиратами<sup>6</sup>. И сам раскаявшийся автор *Вакханок* воспевает Диониса, находясь в городе, являющемся «водным» *par excellence*, в столице македонской монархии – Эге.<sup>7</sup> Набоков же, на-

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Ессе ното*. Там же. Т. 2. С. 752.

<sup>2</sup> Платон. *Законы* III, 700 b / Перевод А. Н. Егунова. См.: Собр. соч. в 4 тт. М., 1971. Т. 3 (2). С. 172.

<sup>3</sup> «Как и комедия возникнув первоначально из импровизаций: [трагедия] – от запевал дифирамба, [комедия] – от запевал фаллических песен, какие и теперь в обычае во многих городах...». Аристотель. *Поэтика*, 1449 а. / Перевод М. Л. Гаспаров. М. С. 649–650.

<sup>4</sup> Ницше Ф. *Ессе ното*. Там же. Т. 2. С. 751.

<sup>5</sup> «...Вакх утрашённый

*Бросился в волны морские и принят Фетидой на лоно,  
Трепетный, в ужас введённый неистовством  
Буйного мужа.*

*Все на Ликурга прогневались мирно живущие боги».*

(Гомер. *Илиада*. / Перевод Н. Гнедича, VI, v. 130–138, М., 1986. С. 83).

<sup>6</sup> Cf. *Hymnes homériques, Hymne a Dionysos*, v. 43–54, Paris, Les Belles Lettres, traduit par Jean Humbert, 1976 (1936). P. 174–175.

<sup>7</sup> Македонская столица называлась на языке автохтонов «Эге», по-гречески «Едейса», а на наречии покоривших Македонию варварских племён – «Водена». См.: Henri Grégoire. *Notices in Euripide, les Bacchantes*, v. 100, Paris, Les Belles Lettres, traduit par Henri Grégoire, 1961. P. 211.

против, выставляет на всеобщее обозрение несоместимость Чернышевского и воды. Этот русский Сократ, проживший много лет на берегу Волги, даже не умеет плавать: «Летом играл в козны, баловался купанием; никогда, однако, не научился <...> плавать...»<sup>1</sup>

Постепенно я подхожу к Заратустре – главнейшему персонажу, созданному творчеством Ницше. Запевший по-немецки персидский пророк, конечно же, является ипостасью самого Ницше и философ неоднократно заявляет об этом: «Поняли ли меня? – Я не сказал ни одного слова, которого я не сказал бы уже пятью годами раньше устами Заратустры».<sup>2</sup> А потому совершенно логично, что Набоков превращает Чернышевского Дара в пародию и на Заратустру.

Так, в Даре высмеивается будущий властитель дум русских революционеров (т. е. борцов за сократическое «добро»), пробавляющийся в ожидании набата русской революции изучением языка персидского пророка в лавке провинциального бабышника: «...местный торговец апельсинами преподавал ему персидский язык, – и соблазнял табачным курением».<sup>3</sup>



Каждый последователь Ницше знает, что немецкий философ с особой теплотой относился к Индии. Этому можно найти немало объяснений. Я приведу лишь три из них. Во-первых, не секрет, что «воспитатель» Ницше – Шопенгауэр<sup>4</sup> знал санскрит<sup>5</sup> и большинство его сочинений говорят о Древней Индии, а значит, Шопенгауэр вместе со

<sup>1</sup> Набоков В. Дар. Там же. Т. 3. С. 192.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Ессе homo*. Там же. Т. 2. С. 768.

<sup>3</sup> Набоков В. Дар. Там же. Т. 3. С. 192.

<sup>4</sup> «Я принадлежу к тем читателям Шопенгауэра, которые, прочитав одну его страницу, вполне уверены, что они прочитают всё, написанное им, и будут слушать каждое сказанное им слово». Nietzsche F. *Unzeitgemässe Betrachtungen III, Schopenhauer als Erzieher 2 in Sämtliche Werke*, München, de Gruyter, 1999, t. 1, p. 346. Свасьян К. А. *Фридрих Ницше: мученик познания* // Ницше Ф. М., 1990. Т. 1. С. 8.

<sup>5</sup> См.: Шопенгауэр А. «Кое-что о санскритской литературе» in *Paralipomena*. / Перевод с нем. А. Чанышева. М., 2001. Т. 5. С. 306–311.

своим учением передал Ницше и интерес к арийской культуре – этой колыбели нашей цивилизации. Во-вторых (и в этой книге я ещё неоднократно вернусь к этому факту), Дионис скрылся в Индии, и в своём самом первом крупном сочинении Ницше предупреждает европейцев о возвращении бога трагедии из Индии в Грецию: *«Имейте только мужество стать теперь трагическими людьми: ибо вас ждёт искупление. Вам предстоит сопровождать торжественное шествие Диониса из Индии в Грецию! Готовьтесь к жестокому бою, но верьте в чудеса вашего бога!»*.<sup>1</sup> В-третьих, Ницше представлял себе творца, философа – космополитом, вырывающимся за пределы Европы, пересекающим границы стран и континентов.

Исследование «запретных» восточных территорий является для него символом познания вселенной мудрости. Не случайно Ницше устанавливает определённую иерархию для мыслителей Старого Континента, – чем далее они переносятся им от Европы, а значит, чем большее количество воображаемых границ они пересекают, – тем значимее место, которое они занимают во мнении Ницше. Так, например, Кант называется Фридрихом Ницше *«великим китайцем из Кёнигсберга»*,<sup>2</sup> а самого себя Ницше сравнивает с Буддой – Буддой, несомненно своеобразным, – царствующим над *сверхмыслителями Европы: «Из всех европейцев, живущих и живших, – Платон, Вольтер, – я обладаю душой самого широкого диапазона. Это зависит от обстоятельств, связанных не только со мной, сколько с “сущностью вещей”, – я мог бы стать Буддой Европы, что, конечно, было бы антиподом индийского»*.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 138–139.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла*. Там же. Т. 2. С. 335.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Злая мудрость, афоризмы и изречения* / Перевод К. А. Свасьяна. М., 1990. Т. 1. С. 728. Ср.: *«Ich habe von allen Europäern, die leben und gelebt haben, die umfanglichste Seele: Plato, Voltaire – es hängt von Zuständen ab, die nicht ganz bei mir stehen, sondern beim «Wesen der Dinge» – ich könnte der Buddha Europas werden: was freilich ein Gegenstück zum indischen wäre»* (Nietzsche F. *Nachlass 1882–1884 in KSA 10*, München, Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter, 1988, p. 109).

У Ницше мы находим неоднократные примеры противопоставления ограниченной, «осократившейся», а потому загрязнённой Европы и бескрайних просторов неизгаженной диалектиками Азии. Так, например, в главе «Среди дочерей пустыни» из *Так говорил Заратустра*, у восточного пророка просит убежища Странник, европеец и беглец из «...старой Европы, покрытой тучами, сырой и то-скливой!»<sup>1</sup>

Константин Годунов-Чердынцев и есть тот самый «европеец» Фридриха Ницше; он странствует по азиатским просторам и находит там свою сверх-европейскую тайну: «Мне иногда кажется теперь, что, удаляясь в свои путешествия, он не столько что-то искал, сколько бежал от чего-то, а затем, возвратившись, понимал, что оно всё ещё с ним, в нём, неизбывное, неисчерпаемое. Тайне его я не могу подыскать имени, но только знаю, что оттого-то и получается то особое – и не радостное, и не угрюмое, вообще никак не относящееся к видимости жизненных чувств, – одиночество, в которое ни мать моя, ни все энтомологи мира не были вхожи».<sup>2</sup>

В *Даре* подчёркивается факт, что последнее упоминание о Константине Годунове-Чердынцеве делается миссионером, давно не встречавшим европейца. Встреча обставлена истинно ницшеанскими декорациями – скала, ущелье, – что даёт возможность заключить, что Фёдор Годунов-Чердынцев и есть сын странника из «старой Европы»: «Последнее достоверное сведение о моём отце (не считая его собственных писем) я отыскал в заметках французского миссионера (и учёного ботаника) Баро, случайно встретившего его в горах Тибета (летом 1917 года) около деревни Чэту. “Я с удивлением увидел, – пишет Баро (*«Exploration catholique»*, за 1923 год), – пасущуюся среди горного луга белую лошадь под седлом, а затем появился, спускаясь со скал, человек в европейском платье, приветствовавший меня по-французски и оказавшийся знаменитым русским

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 220.

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Там же. Т. 3. С. 104.



путешественником Годуновым. Я не видел европейца уже свыше восьми лет. Мы провели несколько прелестных минут, на мураве, в тени скалы, обсуждая номенклатурную тонкость в связи с научным названием крохотного голубого ириса, росшего по соседству. После чего, дружески простившись, мы разошлись, он – к своим спутникам, звавшим его из ущелья, я – к отцу Мартыну, умиравшему в дальней харчевне». <sup>1</sup>

Заметим, что, согласно Набокову, тайное знание Константина Годунова-Чердынцева не только сверхевропейское, но и приближается к сверхчеловеческому. Оно могло быть понято (сиречь прочувствовано, товарищи диалектики!) лишь избранными, одним из которых являлся «...усадебный сторож, корявый старик, дважды опалённый молнией <...>, именно он искренне и без всякого страха и удивления считавший, что мой отец знает кое-что такое, чего не знает никто, был по-своему прав». <sup>2</sup>

Артист Ницше, наполняющий свой стиль-танец <sup>3</sup> пируэтами-метафорами, прямо называет сверхчеловека молнией: «Смотрите, я провозвестник молнии и тяжёлая капля из тучи; но эта молния называется сверхчеловек». <sup>4</sup> Ницшеанец Набоков не забывает отметить, что лишь этот дважды затронутый небесным пламенем сторож отдаёт себе отчёт в избранности Фёдорова отца.

Написанное выше объясняет и исчезновение Чердынцева старшего. Константин не гибнет. Нет! Достигнув «азиатской» стадии своих исследований, поглотив мудрость обоих континентов – Европы и Азии, – он просто растворяется в безграничности, переходя, таким образом, в стадию «сверхазиатского» познания: «... мог он [Константин Кириллович. – А. Л.] пойти на запад в Ладак,

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 121–122.

<sup>2</sup> Там же. С. 104.

<sup>3</sup> «Мой стиль – танец». «Mein Stil ist ein Tanz» in Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Briefe Kritische Studienausgabe, Band 6, Januar 1880–Dezember 1884*, An Erwin Rohde in Tübingen. Nizza, 22 Februar 1884, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, de Gruyter, 1986, p. 479. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>4</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 11.

чтобы спуститься в Индию, или почему бы ему не отправиться в Китай, а оттуда на любом корабле – в любой порт на свете?»<sup>1</sup>

Для Набокова с его мировоззрением античного писателя образ «быка», символизирует то же, что и для любого грека, а именно (и помимо прочего) – половую мощь, связанную с функциями плодородия. Ефим Курганов уже писал об этом образе Зевса-быка в набоковской *Лолите*.<sup>2</sup> Свою «бычью» сущность Зевс передаёт сыну Дионису. Так, «быкорогим богом» и называет Диониса хор в трагедии Еврипида (Ταυροκερῶν Θεῶν<sup>3</sup>); ослеплённый чарами Диониса царский слуга связывает ноги быку, вместо того чтобы заковать бога трагедии,<sup>4</sup> а ведомый Дионисом на смерть Пенфей видит впереди себя быка.<sup>5</sup>

Набоков не только вводит на страницы *Дара* образ быка Диониса, он ещё и объясняет причину его вынужденной задержки на Востоке и, следовательно, роковой невозможности вернуть в Европу дух трагедии: в своих странствиях Годунов-Чердынцев видит *яка*-Диониса (а ведь именно к *яку*-Дионису взывают вакханки с фиванских гор), запертого льдом азиатской реки: «Как-то зимой, переходя по льду через реку, я издали приметил расположенную поперёк неё шеренгу тёмных предметов, большие рога двадцати диких яков, застигнутых при переправе внезапно образовавшимся льдом; сквозь его толстый хрусталь было ясно видно оцепенение тел в плывущей позе; поднявшиеся надо льдом прекрасные головы казались бы живыми, если бы уже птицы не выклевали им глаз...»<sup>6</sup> Неслучайно, что набоковского *яка*-Диониса – этого бога огненного вихря – сковывает именно холод. Ницше превосходно выразил связь огня и Диониса в *Рождении трагедии*: «Бывают люди, которые от недостаточной опытности или вследствие своей тупости с насмешкой или с

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Там же. Т. 3. С. 124.

<sup>2</sup> Курганов Е. *Лолита и Ада*. СПб., 2001. С. 45–49.

<sup>3</sup> Euripide, *Les Bacchantes*, Paris, Les Belles Lettres, 1961, p. 246, v. 100 (Перевод автора. – А. Л.)

<sup>4</sup> Euripide, *Op. cit.*, p. 267, v. 618–620.

<sup>5</sup> Euripide, *Op. cit.*, p. 279, v. 918–926.

<sup>6</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 110.

*сожалением отворачиваются в сознании собственного здоровья от подобных явлений, считая их "народными болезнями": бедные, они и не подозревают, как призрачно оно выглядит, когда мимо вихрем проносится пламенная жизнь дионисических безумцев*.<sup>1</sup>

Происхождение Диониса ещё до его первого рождения, связывается с огнём, вызванным на свою гибель Семелой.<sup>2</sup> А происхождение самой легенды, точно так же как и истоки мифа о Эдипе, теряется в глубинах таинственной души народа, населявшего некогда Пелопоннес и его окрестности.

Допустимо предположение, что не только Дионис, пленник Востока, является ключевым образом, который ницшеанец Набоков берёт из творчества Ницше, но и образ скованной льдом реки заимствован Набоковым из *Так говорил Заратустра*.

*«Кривым путём приближаются все хорошие вещи к цели своей. Они выгибаются, как кошки, они мурлычут от близкого счастья своего, — все хорошие вещи смеются»*,<sup>3</sup> — поучал высших людей персидский пророк.

Так не будем же спешить, читательница, дай мне твою нежную ладошку, и медленно, по-кошачьи, — уж ты-то знаешь толк в мурлыканье! — начнём наше восхождение.

Вспомним, что Гераклит Эфесский был одним из тех философов, которых Ницше считал наиболее близкими себе: *«Сомнение оставил во мне Гераклит, вблизи которого я чувствую себя вообще теплее и приятнее, чем где-нибудь в другом месте. <...> Учение о "вечном возвращении", стало быть, о безусловном и бесконечно повторяющемся круговороте всех вещей, — это учение Заратустры могло бы однажды уже существовать у Гераклита»*.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 61–62.

<sup>2</sup> Euripide. *Les Bacchantes*, p. 210, v. 1–9.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 212.

<sup>4</sup> Ницше Ф. *Эссе Ното*. Там же. Т. 2. С. 731.

«Всё течёт» – основополагающая мысль доктрины эфесского философа.<sup>1</sup> Но, согласно Ницше, после ухода Диониса в Индию мир уже не может существовать по своим изначальным законам. А как сладостно было царство бога, ведь «... под чарами Диониса <...> смыкается союз человека с человеком...»;<sup>2</sup> раб обретает свободу;<sup>3</sup> человек из художника становится «...художественным произведением...»;<sup>4</sup> наконец, «...сама <...> природа <...> празднует праздник примирения со своим блудным сыном – человеком».<sup>5</sup>

В оставленном Дионисом мире рвётся связь с исконными законами мироздания. В этом *новом мире*, – о ужас – внезапно прорывается визгливое хрюканье *Интернационала!* Зажми же, скорее, свои тонкие ушки, читательница! В этом *новом мире* более невозможно по-гераклитовски утверждать, «*πάντα ῥεῖ*», что «всё течёт»; наступает зима, которую Ницше описывает такими словами: «*В основе всё спокойно*» – это истинное учение зимы, удобное для бесплодного времени, хорошее утешение для зимней спячки и печных лежбоек».<sup>6</sup> И даже лучшие из лучших, те, что помнят древние законы, разуверились в чудесах заточённого льдами Диониса и в возможности возвращения духа трагедии к созданным для дионисического созидания европейцам: «*А когда приходит суровая зима, укротительница рек, – тогда и насмешники начинают сомневаться; и поистине, не одни только увальни говорят тогда: “Не всё ли спокойно?”*»<sup>7</sup>

Но зима не вечна, говорит одна из притч Заратустры. Наступает весна, лёд тает, бешеный бык Дионис обретает свободу, его азиатские очи нали-

<sup>1</sup> Hermann Diels. Walther Kranz, *Fragmente der Vorsokratiker*, 12 [41, 42], Berlin-West, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung. 1951, t. 1, p. 154.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 62.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 145.

<sup>7</sup> Там же.

ваются кровью, и, неистовый, он разбивает в щепки мосты привычных «зимних», «сократовских» истин: «*Ветер в оттепель – это бык, но не пашущий, а бешеный бык, разрушитель, гневными рогами ломающий лёд! Лёд же – ломает мостки!*»<sup>1</sup> Так, согласно пророчеству Фридриха Ницше, дух трагедии освободится и, возможно, вернётся из Азии в Европу.

Почему Константин Годунов-Чердынцев спокойно и благополучно проходит мимо грозных животных, запертых льдом реки? Это можно объяснить как внутреннее согласие Набокова с Фридрихом Ницше: слишком рано! Европейский человек ещё верит в равенство, верит в демократию, верит в «разумную» науку. Одним словом, преклоняет колени перед оптимистом Сократом! И следовательно, время возвращения в Европу трагического духа ещё не пришло. Да и на что трагедия плебеупацифисту с вялой душой? Более того, – и здесь и подхожу к концу моих рассуждений, – Чердынцев не теряет полностью связь с Азией, он привозит в Европу другой символ Азии – шахматы; и посвящает часы досуга этой (столь важной и для самого автора *Дара*) индийской игре во время подготовки своих путешествий на Восток.

Нельзя обойти внимание тот факт, что именно в шахматах Константин Кириллович находит забвение в тяжёлые для него моменты – когда единство Европы разрушается войной. Аллюзия к *Так говорил Заратустра* усиливается Набоковым ещё и тем, что партнёром Константина Кирилловича в шахматной партии становится Берг, чьё имя на родном языке Фридриха Ницше означает «гора»<sup>2</sup>: «*...играл в шахматы – более сердясь на промахи противника, чем на свои, – с недавно овдовевшим ботаником Бергом...*»<sup>3</sup> Так, Набоков отсылает читателя к горе – месту философских размышлений персидского пророка, – ведь Ницше в *Заратустре* неоднократно упоминает о том, что избранный

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 145.

<sup>2</sup> «*der Berg*» – «гора» (нем.).

<sup>3</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 117.

должен стремиться к уединению и горным «горным» высотам.<sup>1</sup>

Чтобы показать неоспоримую связь Берга с Заратустрой, Набоков подчёркивает, что единственное исключение, единственный не связанный с бабочками «сувенир», привезённый Константином Кирилловичем из Азии в Европу, это «персидский ковёр», срезанный с вершины горы. Здесь писатель сближает образы, горы и Персии – родины Заратустры: «...он [Константин Кириллович. – А. Л.] привёз однажды только что женившемся ботанику Бергу целиком весь растительный покров горной разноцветной лужайки величиною с площадь комнаты (я его и представил себе так – свёрнутым в ящичке, как персидский ковёр), найденный на страшной высоте, среди голых скал и снегов...»<sup>2</sup>

И здесь Набоков не прекращает свою – и ницшевскую – «политику контрастов»: ницшеанец Чердынцев-отец находит отдохновение и, в какой-то мере, черпает силы в шахматной игре, которая становится его личным «сопротивлением» конфликту, раздирающему Европу; а Чердынцев-сын, решая шахматную задачу сборника (давшего ему идею к написанию биографии Чернышевского), как бы случайно обращается к индийской и бристольской темам, образуя союз: («...вдруг, от внутреннего толчка, неотличимого от вдохновения поэтического, ему [Фёдору – А. Л.] являлся диковинный способ осуществления той или иной изощрённой задачной идеи (скажем, союза двух тем, индийской и бристольской – или идеи вовсе новой»<sup>3</sup>), охватывая, таким образом, своей шахматно-поэтической мыслью всю знакомую эллинам Евразию с Запада на Восток. Русский же Сократ, – учёный-диалектик Чернышевский, – не имеет ни малейшей способности к этой игре: «На самом-то деле ни Костомаров, ни Чернышевский ничего в шахматах не смыслили. В юности, прав-

<sup>1</sup> «Не надо взбалтывать топль. Надо жить на горах. Блаженными ноздрями вдыхаю я опять свободу гор! Наконец мой нос избавился от запаха всякого человеческого существа!» (Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Там же. Т. 2. С. 134).

<sup>2</sup> Набоков В. Дар. Т. 3. С. 103.

<sup>3</sup> Там же. С. 153.

да, Николай Гаврилович как-то купил шахматы, пытался даже осилить руководство, кое-как научился ходам, довольно долго возился с этим (возню обстоятельно записывая) и, наконец, наскуча пустой забавой, отдал приятелю».<sup>1</sup>



В самом конце своей творческой жизни Ницше составляет настоящий диетический трактат о правильном питании, прямо заявляя о том, что от выбора строго определённых продуктов зависит созидательный потенциал творца. Вот что было нормой и привычкой жизни Ницше: *«Лучшая кухня – кухня Пьемонта. <...> я противник вегетарианства по опыту; совсем как обративший меня Рихард Вагнер, могу вполне серьёзно советовать всем более духовным натурам безусловное воздержание от алкоголя. Достаточно воды... <...> Сытный обед переваривается легче небольшого обеда. Приведение в действие желудка как целого есть первое условие хорошего пищеварения. Величину своего желудка надо знать»*.<sup>2</sup>

Откуда это? Платон, как и вся греческая элита в V–IV веках, уже находился под влиянием трудов Гиппократов, учившего о совершенно новой, непривычной более древним эллинам диете. Отголоски Гиппократовых советов мы находим в платоновских беседах. Действительно, гомеровские герои, как люди до-гиппократовской эпохи предпочитали жареное мясо – вспомним, что спутники Одиссея, находясь на острове Тринакрия, решаются на святотатственное убийство быков Гелиоса, вместо того чтобы спокойно заняться рыбной ловлей. В этом, по мнению собеседников Сократа, и заключается причина краткого века гомеровских героев. Современники Платона – которых даже в наш «век прогресса» назовут долгожителями<sup>3</sup> – ели **рыбу**. Это изменение гастроно-

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. М., 1990. Т. 3. С. 237.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Эссе Ното*. Там же. Т. 2. С. 709–710. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>3</sup> Платон умер в возрасте 78 лет (427–348/347 гг. до н. э.), Протагор – в возрасте 76 лет (486–410 гг. до н. э.), Софокл – в возрасте 89 лет (495–406 гг. до н. э.), Еврипид, «маска Сократа» – в возрасте 74 года (480–406 гг. до н. э.).

мических вкусов подчёркивает текст *Государства*: «Об этом можно узнать даже у Гомера. Ты ведь знаешь, что во время похода Гомер не кормит героев на пиршествах ни рыбой, хотя дело происходит у моря, на Геллеспонте, ни варёным мясом, а только жареным, что для воинов в самом деле удобнее: ведь огонь, так сказать, везде под рукой и не надо возить с собой посуду».<sup>1</sup>

Именно интерес к кулинарии, который проявляет божественный Платон, и побудил профессора классической филологии Ницше вернуться к теме питания в предисловии к *Заратустре*. Там Ницше пишет о внезапности чувства голода, захватывающего пророка, это голод хищника-творца, он связан с созиданием, а потому не известен анорексическим диалектикам: «Голод нападает на меня, как разбойник, – сказал Заратустра. – В лесах и болотах нападает на меня голод мой и в глубокую ночь. Удивительные капризы у моего голода. Часто наступает он у меня только после обеда, и сегодня целый день я не чувствовал его; где же замешкался он?»<sup>2</sup>

Приведённые выше строки объясняют происхождение недюжинного аппетита у созидателя ницшеанца Фёдора. В начале *Дара* Фёдор чувствует внезапный голод и, подобно Заратустре, утоляет его прямо на улице. После чего ницшеанец Набоков считает нужным прибавить, что будь его герой побогаче, он съел бы ещё: «Он купил пирожков (один с мясом, другой с капустой, третий с саго, четвёртый с рисом, пятый... на пятый не хватило) в русской кухмистерской, представлявшей из себя как бы кунсткамеру отечественной гастрономии, и скоро справился с ними, сидя на сырой скамье в сквере».<sup>3</sup>

Приведённый выше факт ни в коей мере не является случайным совпадением – наоборот, Набоков строго придерживается ницшевской схемы – начало созидания соотносится с периодом здорового голода творца, который должен быть утолён.

<sup>1</sup> Платон. *Государство* III, 404 b–c / Перевод А. Н. Егунова. М., 1971. Т. 1. С. 189.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 14–15.

<sup>3</sup> Набоков В. *Дар*. Там же. Т. 3. С. 28.



Неслучайно юный Фёдор, испытывающий поэтическое вдохновение, подчёркивает впоследствии, что его инспирация приходила одновременно с голодом: *«Я возвращался в полночь, благо гувернёр уехал в Англию, – и никогда я не забуду того чувства лёгкости, гордости, восторга и дикого ночного голода (особенно хотелось простокваши с чёрным хлебом), когда я шёл по нашей преданно и даже льстиво шелестевшей аллее к тёмному дому (только у матери – свет), я слышал лай сторожевых псов. Тогда-то и началась моя стихотворная болезнь»*.<sup>1</sup>



Что же касается противников Ницше, они совершенно не заботятся о собственном теле, которое для безжалостного «физиолога»<sup>2</sup> Ницше неразрывно связано с духом (*«...пробудившийся, знающий, говорит: я – тело, только тело, и ничто больше; а душа есть только слово для чего-то в теле. Тело – это больший разум, множество с одним сознанием, война и мир, стадо и пастырь»*<sup>3</sup>), а поэтому они наполняют желудок неудобоваримой пищей сократических знаний, и плоды их труда – не что иное, как творчество изначально больного организма, питаемого мерзейшими продуктами. Вот такой диагноз ставит гастроэнтеролог Заратустра нездоровым учёным – своим современникам: *«...они плохо ели, и потому они получили этот испорченный желудок, – ибо испорченный желудок есть их дух: он советует смерть! Ибо, поистине, братья мои, дух есть желудок»*.<sup>4</sup>

Всё сказанное выше объясняет, почему Набоков, работая над *Дневником Чернышевского*, и

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 135.

<sup>2</sup> «Если в организме самый незначительный орган хотя бы в малой степени ослабляет совершенно точное проявление своего самоподдержания, возмещения своей силы, своего “эгоизма”, то вырождается и весь организм. *Физиолог требует ампутации выродившейся части, он отрицает всякую солидарность с нею, он стоит всего дальше от сострадания с ней*» Фридрих Ницше. *Ессе homo*. Там же. Т. 2. С. 742.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 24.

<sup>4</sup> Ницше Ф. Там же. С. 126.

подолгу разбирает в *Даре* «тему кондитерских». Действительно, там, где *сверх-поэт* Пушкин «...залпом пьёт лимонад перед дуэлью...»<sup>1</sup>, русский Сократ – Чернышевский – недоедал и недопивал.

Прежде чем процитировать соответствующий отрывок из *Дара*, необходимо добавить (слушай меня, читательница), что Набокову мало простого указания на дурное питание Чернышевского. Нет! Набоков подчёркивает тот факт, что Чернышевский, как и положено диалектику и противнику поэтической инспирации, тщательнейшим образом записывает всё, что касается его нездорового питания, поступая, как и положено учёному, готовящемуся к написанию скучнейшей диссертации: «Так, у Вольфа “последние оба раза вместо булки его (читай: Вольфа) пил кофе с пятикопечным калачом (читай своим), в последний раз не таясь” – т. е. в первый из этих двух последних разов (щепетильная обстоятельность его дневника вызывает в мозжечке щекотку) таился, не зная, как примут захожее тесто».<sup>2</sup>

В кондитерских Чернышевский не только ест, он ещё и (прошу прощения!) читает. И здесь Набоков-ницшеанец максимально раскрывает образ русского Сократа. Ведь Чернышевский читает не что-нибудь, а газеты. Отношение же к прессе Ницше и Набокова было идентичным: антиартист, антипоэт, антисоцидатель тратит жизнь на чтение прессы и писание в газетах. И оба они, и Ницше и Набоков, неоднократно заявляют об откровенном презрении к газетам и их читателям:

Ср. у Ницше-Заратустры: «Разве не видишь ты, что души висят здесь, точно обвисшие, грязные лохмотья? – И они делают ещё газеты из этих лохмотьев!

Разве не слышишь ты, что дух превратился здесь в игру слов? Отвратительные слова-помои извергает он! – И они делают ещё газеты из этих слов-помоев!»<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 203.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 126.

Ср. у Набокова-ницшеанца: «Следующие четыре дня Градус промучился в Женеве. Есть забавный парадокс в том, что этим активистам постоянно приходится переносить долгие периоды праздности, которые они не в состоянии ничем заполнить из-за недостатка предприимчивости ума. Как многие некультурные люди, Градус был ненасытным читателем газет, брошюр, случайных листков и многоязычной литературы, которая бывает приложена к носовым платкам и предметам пищеварения...»<sup>1</sup>

Когда я займусь изучением многочисленных последователей Чернышевского, я приведу цитаты из *Дара*, относительно прессы. Здесь же я намеренно цитирую *Бледный огонь*, чтобы подчеркнуть, что и с годами презрительное мнение Набокова о прессе ни в коей мере не изменилось.

Прежде чем указать, как читает Чернышевский, необходимо отметить ещё один отсыл в *Даре* к Ницше – уж больно газетная тема важна для ницшеанца Набокова! Вспомним, что в *Ессе homo* Ницше пишет об исключении, которое он себе позволяет: «...я сам, с позволения, читаю только *Journal de Débats*».<sup>2</sup>

Ницшеанец Набоков не только доказывает своё превосходное знание биографии своего учителя, но и использует это знание, зло иронизируя над бедным русским Сократом. Тот не только читает без разбору всякую прессу, но если уж ему и попадает в руки единственная газета, до которой Ницше снисходил, то Чернышевский совмещает чтение этой газеты и поглощение наиболее сухой (и несомненно неприемлемой для физиолога Ницше) пищи – сухарей: «... [Чернышевский. – А. Л.] не терпел сухого чаю, как не терпел пустого чтения, т. е. за книгой непременно что-нибудь грыз: с пряниками читал Записки Пиквикского клуба, с сухарями – “Журналь де деба” )...».<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Набоков В. *Бледный огонь* / Перевод Веры Набоковой. Ardis Publishers, 1983. С. 220

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Ессе homo*. Там же. Т. 2. С. 723.

<sup>3</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 197



Существует ещё одна физиологическая особенность Чернышевского, диаметрально отличающая его от Ницше. С юности философ страдал головными болями. И знаток произведений Фридриха Ницше не может не знать об этом, ибо философ постоянно возвращается к этой теме в письмах,<sup>1</sup> а также в *Ессе homo*, где Ницше объясняет свои мучения местью природы за содеяние великого, за сладостную пенетрацию и восхитительную эякуляцию в её чрево – за раскрытие её тайн. Вот как беспечный Ницше описывает происхождение своей венерической болезни: «*Есть нечто, что называю я гансуне великого: всё великое, всякое творение, всякое дело, однажды содеянное, непременно обращается против того, кто его содеял. Именно потому, что он его содеял, он слаб теперь, он не выдерживает больше своего дела, он не смотрит больше ему в лицо*».<sup>2</sup>

Как я уже писал, русский Сократ Набокова это прежде всего «анти»-Ницше. А следовательно, в *Даре* указывается на тот факт, что сколько бы Чернышевский ни прилагал усилий для занятий своей разрушительной деятельностью, он никогда не страдал головными болями. Более того, Чернышевский – это законченный анти-Ницше, а потому он не может не чваниться своим антিনিцшеановским свойством: «*[Чернышевский. – А. Л.] Работал лихорадочно, так много курил, так мало спал, что впечатление производил страшноватое: тощий, нервный, взгляд зараз слепой и сверлящий, отрывистая, рассеянная речь, руки трясутся (зато никогда не страдал головной болью и наивно гордился этим, как признаком здравого ума)*».<sup>3</sup>

Отсутствие головных болей у Чернышевского в *Даре* – этом романе, полном отсылов к жизни и творчеству Ницше, – следует прочитывать как ироническую мысль ницшеанца Набокова о том,

<sup>1</sup> Nietzsche F. *Sämtliche Briefe Kritische Studienausgabe, Band 6, Januar 1880–Dezember 1884*, 6 Dezember 1883, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, de Gruyter, 1986, p. 3.

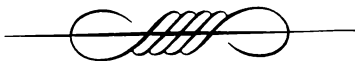
<sup>2</sup> Ницше Ф. *Ессе homo*. Там же. Т. 2. С. 748. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>3</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 223.

что природе не за что мстить автору *Что делать?* природа на нем отдыхает. Сократическому учёному никогда не стать мудрецом, способным разгадать загадку Сфинкса, и никогда не встать, согласно Ницше, на путь раскрытия дионисических тайн природы: «*Мало того, миф [об Эдипе. – А. Л.] как бы таинственно шепчет нам, что мудрость, и именно дионисическая мудрость, есть противостественная скверна, что тот, кто своим знанием низвергает природу в бездну уничтожения, на себе испытывает это разложение природы*». <sup>1</sup>

Более того, Чернышевский и ему подобные сократические диалектики настолько погружены в чтение своих пыльных книг, настолько слепы, что, даже повстречай они фиванского монстра, они просто не разглядят его. Вот как описывает Ницше их бесполезный и бесславный жизненный путь: «*[теоретический человек. – А. Л.] остаётся вечно голодающим, “критиком” бессильным и безрадостным, александрийским человеком, который в глубине души своей библиотекарь и корректор и жалко слепнет от книжной пыли и печаток*». <sup>2</sup>

Но о слепоте Сократиков, читательница, речь пойдёт уже в следующей главе.



<sup>1</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 90.

<sup>2</sup> Там же. С. 129.



## ГЛАВА ВТОРАЯ

### БОРЬБА «СЛЕПОГО» УЧЁНОГО С ПОЭЗИЕЙ

*Мы не знаем другого периода искусства, в котором так называемое образование и действительное искусство были бы столь же чужды друг другу и стояли бы в столь же враждебных отношениях, как это наблюдается в настоящее время. Нам понятно, почему такое расслабленное образование ненавидит истинное искусство: оно в нём видит свою погибель.*

**Фридрих Ницше.**

*Рождение трагедии из духа музыки*

Для того, чтобы стать ницшеанским первооткрывателем, способным разглядеть издали, подобно мореплавателю, новые земли – земли новой философии («...мы, аргонавты идеала <...> видим какую-то ещё не открытую страну, границ которой никто ещё не обозрел, нечто по ту сторону всех прежних земель и уголков идеала, мир до того богатый прекрасным, чуждым, сомнительным, страшным и божественным, что наше любопытство, как и наша жажда обладания, выходит из себя...»<sup>1</sup>); равно как и для того, чтобы стать воином и метко разить в цель стрелой из персидского лука («*Говорить правду и хорошо владеть луком и стрелой*» казалось в одно и то же время мило и тяжело тому народу, от которого идёт

---

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Ессе Homo*. Там же. Т. 2. С. 745–746. «...wir Argonauten des Ideals (...) ein noch unentdecktes Land vor uns haben, dessen Grenzen noch Niemand abgesehen hat, ein Jenseits aller bisherigen Länder und Winkel des Ideals, eine Welt so überreich an Schöнем, Fremdem, Fragwürdigem, Furchtbarem und Göttlichem, dass unsre Neugierde sowohl als unser Besitzdurst ausser sich gerathen sind...» (Nietzsche F. *Ecce Homo*. München, Deutscher Taschenbuch Verlag, de Gruyter, 1988. P. 338).

имя моё»<sup>1</sup>), последователю Ницше необходимо превосходное зрение.

Не потому ли в *Даре*, этом ницшеановском романе, физическое зрение героев не может не стать отражением зрения духовного. Набоков во всём следует логике Ницше. Так, у Константина Годунова-Чердынцева превосходное зрение, и он меткий стрелок: «... отец взял у него пистолет, мгновенно-ловко вдавил в обойму пули и семью выстрелами выбил ровное К.»<sup>2</sup>; а его сыну, Фёдору, достаточно одного мгновения, чтобы, подобно художнику, постигнуть «божественный смысл» лесной лужайки: «Всю эту обаятельную жизнь, по сегодняшнему сочетанию которой можно было безошибочно определить и возраст лета (с точностью чуть ли не до одного дня), и географическое положение местности, и растительный состав лужайки, всё это живое, истинное, бесконечно милое, Фёдор воспринял как бы мгновенно, одним привычным, глубоким взглядом».<sup>3</sup>

Набоков не может не подчеркнуть, что у Чернышевского, как «анти-Ницше», наоборот, с самого раннего детства было дурное зрение: «Развивается, замечаем, и тема “близорукости”, начавшаяся с того, что он отроком знал только те лица, которые целовал...»<sup>4</sup>

Символичен и путь Чернышевского в Петербург, город, где ему суждено стать подлинным сократическим учёным. Он совершает его, уткнувшись в книгу: «Кстати, ландшафт, который незадолго до того чудно и томно развивался навстречу бессмертной брочке; всё то русское, путевое, вольное до слёз; всё кроткое, что глядит с поля, с пригорка, промеж продолговатых туч; красота просительная, выжидательная, готовая броситься к тебе по первому знаку и с тобой зарыдать; – ландшафт, короче говоря, воспетый Гоголем, прошёл незамеченным мимо очей восемнадцатилетнего Николая Гавриловича, нетороп-

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 42.

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 71.

<sup>3</sup> Там же. С. 121.

<sup>4</sup> Там же. С. 193.

ливо, на долгих, ехавший с матерью в Петербург. Всю дорогу он читал книжку».<sup>1</sup>

Набоков недаром выставляет для сравнения русского «анти-Ницше» рядом с Гоголем. Ведь ещё Андрей Белый<sup>2</sup> в 1924 году утверждал, что стиль Гоголя настолько близок танцевальному стилю Ницше, что только Гоголь и был бы способен перевести труды Ницше на русский язык.

Едущий в столицу юный Чернышевский духовно, по-учёному, слеп – зачем ему, диалектику, природа с её «травкой», да «пичужками!» – и, следовательно, он не может не стать антагонистом Гоголя-художника, который, согласно Набокову, открыл для русской литературы цвета: «Именно Гоголь (а после него Лермонтов и Толстой) первый увидел желтый и фиолетовый цвета».<sup>3</sup>

Художественное видение сближает живописца и поэта. Следовательно, *сверхпоэт*, такой как Гомер, отличается и *сверхвидением*. Ещё в *Рождении трагедии* Ницше задаётся вопросом: «Почему описания Гомера так превосходят своей наглядностью описания других поэтов?»<sup>4</sup> и тут же сам даёт ответ на него: «Потому что он больше видит».<sup>5</sup>

Следуя логике Ницше, Набоков не перестаёт подчёркивать факт духовной слепоты русского Сократа, например, он отказывает Чернышевскому в способности видеть звёзды: «...он [Чернышевский – А. Л.] <...> видел лишь четыре из семи звёзд Большой Медведицы».<sup>6</sup> Здесь Набоков отсылает читателя к этимологии слова ἀνθρώπος – «человек», возможно означающее ἀνω ἄνθρωπιν – «взгляд, запрокинутый ввысь». Именно так, например, понимает этимологию этого слова Овидий, для которого цель Прометеевой работы по созданию человека заключалась именно в придаче оному

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 192.

<sup>2</sup> Белый А. *Мастерство Гоголя*. М., 1934. С. 227.

<sup>3</sup> Nabokov V. *Littératures II*, Paris, Fayard, Traduit par Hélène Pasquier, 1980, p. 59.

<sup>4</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 85.

<sup>5</sup> Там же. С. 85.

<sup>6</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 193.



способности глядеть на звёзды. Это и отличает его от животных:

*«Отпрыск Япета, её замешав речною водою,  
Сделал подобье богов, которые всем управляют.  
И между тем как, склонясь, остальные животные в землю  
Смотрят, высокое дал он лицо человеку и прямо  
В небо глядеть повелел, подымая к созвездиям очи».*<sup>1</sup>

Овидий облакает в поэтическую форму довольно сухую выкладку Платона-«филолога», приводящего одно из объяснений происхождения слова «человек»: *«Имя “человек” означает, что тогда как остальные животные не наблюдают того, что видят, не производят сравнений, ничего не сопоставляют (anathrein), человек, как только увидит что-то, – а можно также сказать: “уловит очами”, – тотчас начинает приглядываться и размышлять над тем, что уловил. Поэтому он один из всех зверей правильно называется “человеком” (anthropos), ведь он как бы “очеловец” того, что видит».*<sup>2</sup>

Итак, если человек наделен взглядом, способным видеть звёзды, то сделано это для того, чтобы «зрячий» человек устанавливал точным взглядом цену всякой вещи. Таков итог деятельности творца, – и вора! – Прометея, – заключает Ницше:

*«Человек сперва вкладывал ценности в вещи, чтобы сохранить себя, – он создал сперва смысл вещам, человеческий смысл! Поэтому называет он себя “человеком”, т. е. оценивающим».*<sup>3</sup>

Позже Ницше объясняет, что именно он хотел сказать в *Заратустре*: *«Должно быть, еще наше слово “человек” (Mensch) выражает как раз нечто от этого самочувствия: человек (tapas) обозначил себя как существо, которое измеряет ценности, которое оценивает и мерит в качестве “оценивающего животного как такового».*<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Овидий. *Метаморфозы* / Перевод Ф. Петровского. СПб., 1994. Т. 2. С. 11.

<sup>2</sup> Платон. *Кратил* / Перевод Т. В. Васильевой. М., 1968. Т. 1. С. 436–437.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра* / Перевод Ю. М. Антоновского. М., 1990. Т. 2. С. 42.

<sup>4</sup> Ницше Ф. *К генеалогии морали*. Там же. Т. 2. С. 450.

Набоков, подчёркивая всего лишь факт неспособности Чернышевского видеть звёзды, отнимает тем самым у духовного предшественника русских социалистов право на оценку – и, продолжил бы Ницше, – право на *переоценку* ценностей. Все это лишает по антично-ницшевской логике «слепца» Чернышевского также и права называться полноценным человеком.

Куда уж Чернышевскому до остроглазого, точно Линкей, Гомера! А потому само поприще русского Сократа ироничнейшим образом представляется Набоковым не как чередование аполлонического созерцания (недоступного «слепцу») и дионисической исступлённости (недоступной излишне «разумному» учёному). Деятельность Чернышевского – не более чем перманентная смена оправы очков на носу диалектика, но смена «прогрессистская», ибо её стоимость (а как это важно для немецкого буржуа в клетчатых штанах!) постоянно растёт: *«Развивается, замечаем, тема “близорукости”, начавшаяся с того, что он [Чернышевского. – А. Л.] отроком знал только те лица, которые целовал, и видел только четыре из семи звёзд Большой Медведицы. Первые, медные, очки, надетые в двадцать лет. Серебряные учительские очки, купленные за шесть рублей, чтобы лучше видеть учеников-кадетов. Золотые очки властителя дум, – во дни, когда “Современник” проникал в самую сказочную глушь России»*.<sup>1</sup>



Что же происходит, когда этот слепец-диалектик принимается за дело?

Набоков и тут остаётся последователем Ницше, и в четвёртой главе *Дара* вся работа Чернышевского сводится к травестии нищестанства – русский Сократ становится «обезьяной Заратустры». Чего стоит одно извращение доктрины вечного возвращения Ницше! У Чернышевского она пре-

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 193.

вращается в пятилетний труд – конечно же, безрезультатный («но какая разница!» воскликнет его последователь – теоретический человек) – над созданием вечного двигателя. Прогрессивное движение вперёд изначально заложено в тезисе Сократа<sup>1</sup> – «Человек изначально хорош. Займёмся же улучшением его существования!» – с энтузиазмом бурчит под нос учёный среднего пола и, щедро смазав подмышки дезодорантом, с жаром принимает за очередной плагиат. И Набоков меланхолически подчёркивает тщетность усилий и оптимистических чаяний русского Сократа: Чернышевский не создал двигателя вечного (и дешевого!) движения – движения вперёд. А потому вплоть до пришествия *сверхчеловека* Земля будет подчиняться закону кольца, и в основе её движения были и останутся Гераклитовы огонь и борьба: «*Возня с перпетуум-мобиле продлилась в общем около пяти лет, до 1853 года, когда он, уже учитель гимназии и жених, наконец сжёг письмо с чертежами, которые однажды заготовил, боясь, что помрёт (от модного аневризма), не одарив мира благодатью вечного и весьма дешёвого движения*».<sup>2</sup>



Наиглавнейшую часть своей карьеры Чернышевский посвящает борьбе с поэзией и с поэтами, и смело можно заключить, что из всех поэтов, конечно же, именно Пушкина русский Сократ избирает своим главным противником. Для Чернышевского Пушкин – автор «*бессмысленного сочетания слов*».<sup>3</sup> Чернышевский до этого заключения не как-нибудь, а пользуясь сократическим орудием *par excellence* – сухим научным

<sup>1</sup> «...то, что мы можем теперь ближе подойти к эстетическому сократизму, верховный закон которого гласит приблизительно так: “Всё должно быть разумным, чтобы быть прекрасным” – как параллельное положение к сократовскому: “Лишь знающий добродетелен”» (Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 104).

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 195.

<sup>3</sup> Там же. С. 216.

анализом. И Набоков находит нужным привести в *Даре* следующую фразу учёного: «*Научный анализ показывает вздорность таких сочетаний*», – писал он [Чернышевский. – А. Л.], – не зная о физиологическом факте «окрашенного уха»».<sup>1</sup>

Набоков проявляет свое ницшеанство тем, что ставит знак равенства между двумя столь разными, на первый взгляд, преследователями поэта. Ведь если Ницше ненавидит чудовище-государство не менее сильно, чем наследников Сократа («*Государством зову я, где все вместе пьют яд, хорошие и дурные; государством, где все теряют самих себя, хорошие и дурные; государством, где медленное самоубийство всех называется – “жизнь”*»<sup>2</sup>), то и Набоков не видит абсолютно никакой разницы между двумя расами гонителей поэта: представителями государственной власти и русским Сократом – вдохновителем революционеров: «*Страннолюбский пронциательно сравнивает критические высказывания шестидесятих годов о Пушкине с отношением к нему шефа жандармов Бенкендорфа или управляющего Третьим отделением фон Фока. Действительно, у Чернышевского, так же, как у Николая I или Белинского, высшая похвала литератору была: дельно. Когда Чернышевский или Писарев называли пушкинские стихи “вздором и роскошью”, то они только повторяли Толмачева, автора «Военного красноречия», в тридцатых годах сказавшего о том же предмете: “Пустяки и побрякушки”*».<sup>3</sup>

Согласно Платону, подлинный поэт «*...существо лёгкое, крылатое и священное*»,<sup>4</sup> а Аристотель продолжает мысль своего учителя, утверждая, что «*поэт является существом высшим, наиболее приближённым к богам*».<sup>5</sup> Поэт творит благодаря божественному вдохновению, которое никогда и

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 216.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 36.

<sup>3</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 229.

<sup>4</sup> Платон. *Ион* / Перевод с древнегреческого Я. М. Боровского. М., 1968. Т. 1. С. 138.

<sup>5</sup> Аристотель. *Поэтика* 1454 а / Перевод М. Л. Гаспарова // Собр. соч.: В 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 664.

ни при каких обстоятельствах не может быть понято, прочувствовано излишне «разумным» для этого диалектиком. К таким легкокрылым поэтам причислял себя Ницше-Заратустра: *«Заратустра танцор, Заратустра легкий, машущий крыльями, готовый лететь, манящий всех птиц, готовый и проворный, блаженно-легкоготовый»*.<sup>1</sup> *«Это мой опыт инспирации; я не сомневаюсь, что надо вернуться на тысячелетия назад, чтобы найти кого-нибудь, кто вправе мне сказать: “это и мой опыт”»*.<sup>2</sup>

Ссылаясь на Платона, Ницше считает, что подлинное созидание есть созидание бессознательное, и подчёркивает в *Рождении трагедии*, что именно бессознательным было творчество создателя *Орестеи*: *«То, что Софокл сказал об Эсхиле, а именно что последний всегда действует правильно, хотя и бессознательно, не должно было прийти в душу Еврипиду, который в данном случае мог признать только, что Эсхил, раз он творит бессознательно, – творит не то, что следует. И божественный Платон так же говорит о творческой способности поэта, поскольку это не есть созидательное уразумение, в большинстве случаев иронически уподобляет эту способность дару прорицателя и толкователя; поэт, мол, способен начать творить не прежде, чем он станет бессознательным и рассудок его покинет»*.<sup>3</sup>

Ницше, этот поэт и философ контрастов, не перестаёт указывать на границу, разделяющую сократического диалектика и поэта. И даже их подходы к творчеству диаметрально отличаются друг от друга: если поэт черпает свои силы в «трагическом мифе» – этой родине поэзии, то другой – мифа не понимает и, гордый своей верой в «разумность», изгоняет поэзию из своих ленных владений: *«Кто припомнит ближайшие последствия этого неутомимо стремящегося вперёд духа науки, тот тотчас же ясно представит себе, как*

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 213.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Ессе ното*. Там же. Т. 3. С. 747. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 3. С. 105. Курсив Фридриха Ницше.

им уничтожен был миф и как путём этого уничтожения поэзия, лишённая отныне родины, была вытеснена с её естественной идеальной почвы».<sup>1</sup>

Для того чтобы контраст стал наглядным, Ницше в *Рождении трагедии* по-аристотелевски олицетворяет высшую поэзию в «неразумном» Эсхиле, а сократического диалектика – в Еврипиде. Последний, подчёркивает Ницше, живя в Афинах, прибегал для написания трагедий к помощи Сократа: «*Что Сократ имел тесную связь с Еврипидом, не ускользнуло от современной ему древности, и самое красноречивое выражение этого счастливого чутья представляет ходившая по Афинам легенда, что Сократ имеет обыкновение помогать Еврипиду в его творчестве*».<sup>2</sup>

Поэтому Еврипид, став герольдом сократовских идей, дал возможность заговорить «разумности» с аттической сцены. Неслучайно Еврипид назван Фридрихом Ницше «маской Сократа»: «*И Еврипид был в известном смысле только маской: божество, говорившее его устами, было не Дионисом, не Аполлоном также, но некоторым во всех отношениях новорождённым демоном: имя ему было – Сократ*».<sup>3</sup>

Для Еврипида, первого апостола Сократа, бессознательное, а следовательно, сверхпоэтическое творчество Эсхила не правильно: «*Еврипид <...> мог признать только, что Эсхил, раз он творит бессознательно, – творит не то, что следует*».<sup>4</sup>

Мировоззрение набоковского Чернышевского является отголоском мысли Сократа и Еврипида, – эхом, отозвавшимся в России более чем через два тысячелетия. Чернышевскому Пушкин просто не понятен. И высказывание Чернышевского из *Дара о Пушкине* парафразирует мысль афинского диалектика и его «маски»: «*Если Пушкин был гений, рассуждал он [Чернышевский. – А. Л.], дивясь, то как истолковать количество помарок в*

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 3. С. 123.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 3. С. 106.

<sup>3</sup> Там же. С. 102.

<sup>4</sup> Там же. С. 105.

его черновиках? Ведь это не отделка, а чёрная работа. Ведь здравый смысл высказывается сразу, ибо знает, что хочет сказать».<sup>1</sup> И ницшеанец Набоков выделяет в тексте это «знает» из Рождения трагедии своего учителя.

Чернышевский – здравомыслящий русскоязычный Сократ. И Набокову недостаточно подчеркнуть факт, что именно помарки в черновиках Пушкина заставляют Чернышевского сомневаться в гениальности поэта. В другом месте *Дара* Набоков просто повторяет фразу Ницше о Сократе, заменяя «Сократа» на «Чернышевского»: «Для Чернышевского гений был здравый смысл».<sup>2</sup>



Профессионализм поэта появляется на свет не благодаря какому-либо умозрительному учению или же исследовательским работам литературоведов, а является суммой творческого опыта и «избранного» рождения. Последнее есть дар небес человеку-поэту, благодаря которому тот становится по-платоновски «легкокрылым».

*«Мы все учились понемногу  
Чему-нибудь и как-нибудь...»*

Знаменитые строки объясняют, как поэт представляет себе базу своего истинно созидательного профессионализма. Здесь Пушкин оказывается в хорошей компании с Ницше и его воспитателем, Шопенгауэром.<sup>3</sup> Последний верно определяет, откуда именно поэт черпает силы для созидания. Этим источником служит ему не пыль библиотек, а природа. Контакт с ней для поэта – тот же *coitus* с целой вселенной, благодаря которому и рождается *сверхтворение*: «Ученые читают книги; мыс-

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 229. Курсив Набокова.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> «Я принадлежу к тем читателям Шопенгауэра, которые, прочитав одну его страницу, вполне уверены, что они прочитают всё, написанное им, и будут слушать каждое сказанное им слово» (Nietzsche F. *Unzeitgemässe Betrachtungen III, Schopenhauer als Erzieher 2* in *Sämtliche Werke*, München, de Gruyter, 1999, t. 1, p. 346. См. также: Свасьян К. А. *Фридрих Ницше: мученик познания*. Ницше Ф. Там же. Т. 1. С. 8).

лители, гении, просветители людей и двигатели человечества читают непосредственно книгу мира».<sup>1</sup> Поэтому «сократические» учёные не способны на половой акт со вселенной – слишком уж они поглощены «теоретической» диалектикой, да и если когда-нибудь, случайно, они оказываются перед ложем природы, то тотчас чувствуют свою импотенцию, и их единственным желанием становится поскорее скрыться, убежать в свою привычную, тёпленькую норку, где они ощущают себя в безопасности и где никто никогда не потребует от них «практического» акта: «[Теоретический человек. – А. Л.] остаётся вечно голодающим, “критиком” бессильным и безрадостным, александрийским человеком, который в глубине души своей библиотечарь и корректор и жалко слепнет от книжной пыли и опечаток»<sup>2</sup>. Так Ницше описывает александрийского, сократического человека, – и подчёркивает в *Рождении трагедии* победоносность оптимистических идей, властвующих, по словам философа, над современным миром: «Весь современный нам мир бьётся в сетях александрийской культуры и признаёт за идеал вооружённого высшими силами познания, работающего на службе у науки теоретического человека, первообразом и родоначальником которого является Сократ».<sup>3</sup>



Оптимистический мир стерильных «библиотекарей» и «учёных» не может не утверждать для поддержания собственной власти принцип равенства людей между собой. В этом мире поэту, т. е. избранному, «не-равному-среди-равных», места нет. Не потому ли для Чернышевского *Дара* стихи Пушкина не более чем «пошлая болтовня»: «...Николая Гавриловича немало, должно быть, раздражала, как лукавый намёк, как посягательство на

<sup>1</sup> Шопенгауэр А. *Paralipomena* // Соч. в 6 тт. Перевод с нем. А. Чанышева. М., 2001. Т. 5. С. 381.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 3. С. 129.

<sup>3</sup> Набоков В. *Дар*. С. 304.



гражданские лавры, которых производитель «пошлой болтовни» (его отзыв о Стамбуле гяуры нынче славят) был недостоин, авторская ремарка в предпоследней сцене Бориса Годунова: «Пушкин идёт, окружённый народом».<sup>1</sup>

Если поэт снисходит до университетского изучения природы, то делается это им снисходительно, «по-любительски». И это верно: что нового может дать Фёдору какой-нибудь университетский диалектик-импотент после сверхуроков Константина Кирилловича?: «Вы ведь зоолог, кажется?» «Так, по-любительски».<sup>2</sup> И именно в этом «любительстве» заложено величайшая, а потому бескорыстная созидательная сила творца, мощь, стократно превосходящая иссушенное «знание» так называемых «профессионалов». Вот что пишет о дилетантах и о «профессионалах» (а на самом-то деле – животво-жадных карьеристах) воспитатель Фридриха Ницше: «Дилетанты, дилетанты! – так пренебрежительно называют тех, кто занимается наукой или искусством из любви к ним, из-за доставляемой ими радости, *per il loro diletto*, – так называются те, кто отдал себя им ради выгоды, так как этим людям *diletto* [удовольствие (итал.)]. – А. Л.] доставляют только деньги, которые наука и искусство могут им принести. Это пренебрежительное отношение основывается на низком убеждении, что никто не станет серьёзно заниматься каким-нибудь делом, если его не побуждает к тому нужда, голод или ещё какой-нибудь вид животной жадности. Публика – детище того же духа, и потому она того же мнения; отсюда её непоколебимое уважение перед “людьми специальности” и её недоверие к дилетантам. В действительности же для дилетанта дело является целью, а для специалиста как такового только средством. Но только тот и занимается делом вполне серьёзно, кому оно важно непосредственно, кто занимается им из любви к нему, *сop atoge*. От таких людей, а не от наёмников всегда исходило всё наиболее значительное».<sup>3</sup> И весёлый

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. С. 126. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Там же. Т. 3. С. 230.

<sup>3</sup> Шопенгауэр А. *Paralipomena* / Перевод с нем. А. Чанышева. М., 2001. Т. 5. С. 373. См.: Montaigne. *Essais*, livre I, ch. XXV, Paris, Éditions Gallimard, 1962, p. 138.

пессимист назло стерильным учёным-профессионалам продолжает: «Так и Гёте был дилетантом...»<sup>1</sup>

Когда же речь заходит о высшем и таинственнейшем знании, недоступном учёным, то, как я уже писал, черпается оно при прямом общении с природой. Именно так Ницше, пишущий *Заратустру*, достигает в горах «сверхсозидательной» стадии, «совокупляясь» с природой в дионисическом танце под «халкионическим небом»<sup>2</sup> Прованса: «...решающая часть, которая носит название “О старых и новых скрижалях”, была создана при труднейшем восхождении от станции к чудесному мавританскому горному гнезду Эца – ловкость мускулов была у меня всегда наибольшей, когда и творческая сила текла в изобилии. Тело одуховорено: оставим “душу” в покое... Меня часто видели танцующим; я мог тогда, без понятия об утомлении, быть пять-шесть часов в горах».<sup>3</sup>

Чердынцев-старший благодаря перманентному coitus'у с природой, – ради которого он покидает жену и даже прогоняет её, когда та, объятая ревностью к сопернице, преследует его,<sup>4</sup> – получает доступ к *Übergeheimnis*, к сверхтайне: «В моём отце и вокруг него, вокруг этой ясной и прямой силы было что-то, трудно передаваемое словами, дымка, тайна, загадочная недоговорённость, которая чувствовалась мной то больше, то меньше. Это было так, словно этот настоящий, очень настоящий человек, был овеян чем-то неизвестным, но что, может быть, было в нём самым настоящим».<sup>5</sup> Поэтому дилетантская отцово-пушкинская субстанция проникает в Фёдора не в

<sup>1</sup> Шопенгауэр А. *Paralipomena*. Там же. Т. 5. С. 373.

<sup>2</sup> «В следующую затем зиму, под халкионическим небом Ниццы, которое тогда заблестало впервые в моей жизни, нашёл я третью часть *Заратустры*» (Ницше Ф. *Ессе homo*. Там же. Т. 3. С. 748).

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Ессе homo*. Там же. Т. 3. С. 748. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>4</sup> «Я побежала по щелбню, крича и смеясь, он медленно обернулся, и когда я вдруг как дура остановилась перед ним, то всю меня осмотрел, прищурился и сказал ужасным неожиданным голосом всего два слова: *марш домой*. И я сразу повернулась, и пошла к своей повозке, и села, и видела, как он совершенно так же опять поставил ногу, и облокотился, продолжая разговор с казаками» (Набоков В. *Дар*. Там же. Т. 3. С. 95).

<sup>5</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 104.

Берлинском или другом университете, а в лесу. Там в прихожей спальни природы начинается сперматогенез созидания – подготовка к тому, чтобы позже «взять», или **познать** в точном библейском смысле (прошу прощения, читательница) вселенную. Набоков пишет: «*За грюневальдским лесом курил трубку у своего окна похожий на Симеона Вырина смотритель, и также стояли горшки с бальзамом. Лазоревый сарафан барышни-крестьянки мелькал среди ольховых кустов. Он находился в том состоянии чувств и души, когда сущность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосонья.*

*Пушкин входил в его кровь. С голосом Пушкина сливался голос отца».*<sup>1</sup>

К этому *сверхcoitus*'у Фёдор будет способен уже в пятой главе *Дара*, и случайное отсутствие Зины (или любой другой девушки) служит тому, чтобы направить его половую мощь фавна-творца на творческое созидание, а не растратить её в банальном половом акте. Впрочем: «*Le sanglot dont j'étais encore ivre. Дал бы год жизни, даже високосный, чтоб сейчас была здесь Зина – или любая другая из её кордебалета*»,<sup>2</sup> – всё-таки сожалеет по-человечески Фёдор, уже становящийся высшим человеком.

Всего этого не понять борцам за равенство, Сократам, будь они русскими или взращёнными на Западе, ибо истина, а истина в том, что *люди не равны*,<sup>3</sup> приводит их в священный ужас.

Великое множество импотентов, оказавшись пред ложем природы, неспособны из-за своей излишне «разумной» природы на половой акт – акт творчества, а потому и возвращаются в свои библиотеки глотать пыль. Но чтобы иметь возможность совершить *coitus* с природой, для этого надо «хорошо родиться», иметь для этого необходимые мужские данные – это ницшевское неравенство людей и воспекает Набоков в *Даре*.

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 104

<sup>2</sup> Там же. С. 300–301.

<sup>3</sup> «*Ибо как говорит ко мне справедливость: "люди не равны". И они не должны быть равны! Чем была бы моя любовь к сверхчеловеку, если бы я говорил иначе?*» (Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 3. С. 72).



В *Рождении трагедии* речь идёт не только о Гомере-остроглазом художнике, но и об Архилохе: «Когда Архилох, первый лирик греков, выражает свою бешеную любовь и вместе с тем своё презрение дочерям Ликамба, то не его страсть пляшет перед нами в оргиастическом хмеле: мы видим Диониса и его менад, мы видим опьянённого мечтателя-безумца Архилоха, погружённого в сон, упавшего на землю – как нам это описывает Еврипид в Вакханках, – спящего на высокой альпийской луговине под полуденным солнцем, и вот к нему подходит Аполлон и прикасается к нему лавром».<sup>1</sup> Сравнение Диониса с Архилохом отнюдь не унижает последнего, особенно когда это сравнение делает Ницше-Дионис.<sup>2</sup> Архилох, напомним тебе, милая читательница, измученная бескультурными учёными-журналистами,<sup>3</sup> – является изобретателем ямба, ставшего впоследствии пушкинским размером *par excellence*.

Набоков читал работы Ницше с восемнадцати лет, и первый труд философа, *Рождение трагедии*, не мог не оставить следа в его памяти. Ведь когда занимаешься вещами глубочайшими, вещами священными, вещами таинственнейшими, читательница, надо начинать с самого начала, а не прыгать с пятого на десятое. Так же надо подходить и к работам Ницше, и к трудам Платона, и к наследию Морраса.

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 73.

<sup>2</sup> «Дионис против Распятого». См.: Ницше Ф. *Ессе ното*. Там же. Т. 2. С. 769. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>3</sup> «...“журналист”, этот бумажный раб дня, во всех сферах образования одержал победу над профессором и последнему остаётся лишь обычная теперь метаморфоза – самому писать в манере журналиста и порхать со свойственным этой сфере “лёгким изяществом” в качестве весёлого и образованного мотылька...», – вот меткое замечание двадцатипятилетнего Фридриха Ницше, рано познавшего поверхность и журналистскую извращённость «научных» дискуссий в стенах наших «Сорбонн». Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 137.

– Не смотри в окно и не хихикай! Что это у тебя, зелёное, как купорос? Структуралистская книжонка! В печку её, в печку! Ух, как сразу потеплело в моей спальне-кабинете!

Набоков не мог не начать с *Рождения Трагедии*. И если уж сам Ницше ставит знак равенства между богом трагедии и ямбистом-Архилохом, то Набоков-пушкинист продолжает мысль своего воспитателя Ницше и даёт нам такую формулу (даже я заговорил формулами, возрадуйтесь, математик с мать-и-мачехой!):

Дионис = Архилох = Пушкин.

В *Даре* прямо упоминается о том, что ямб – стиль Пушкина, который, поэт, шутя, грозился отдать: «...детishкам на забаву – Коломне...». После чего Набоков нападает на Чернышевского и неоднократно подчёркивает, что пушкинский стихотворный размер ненавистен этому учёному, который на страницах сократически оптимистического «Современника» разворачивает битву с ямбом Пушкина: «*Чрезвычайно знаменательна в отношении ко всему этому попытка Чернышевского доказать («Современник», 56 г.), что трёхдольный размер стиха языку нашему свойственнее, чем двухдольный*».<sup>1</sup>



Ницше объясняет, что трагическая субстанция состоит из двух частей: аполлонической, существовавшей на территории Пелопоннеса задолго до того, как Семела забеременела от Зевса – эту часть трагической субстанции превосходно представляет в *Вакханках* Пенфей, – и дионисической, которую персонифицирует вернувшийся с Востока бог. Диффузия упомянутых двух частей – редчайшее происшествие.

Трагическая субстанция не смогла бы появиться на свет в другом месте – она распускается подобно цветку именно в благодатном климате Эллады, как это заметил один из моих воспитателей в

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 216.

области классицизма Шарль Моррас<sup>1</sup>; она не могла родиться в другую эпоху. Диффузия двух элементов не состоялась бы, если бы дионисическая и аполлоническая субстанции не воссоединились бы в глубинах души нации, которую сейчас принято называть эллинами<sup>2</sup>. Неслучайно Ницше пишет, что вакханалии варваров ни в коей мере нельзя сравнивать с вакханалиями греков: *«Напротив того, нам не приходится опираться на одни предположения, когда мы имеем в виду показать ту огромную пропасть, которая отделяет дионисического грека от дионисического варвара»*<sup>3</sup> – ибо последние, – и тут, читательница, мы возвращаемся к исконному неравенству, – носят на себе печать высшей расы. Поэтому только греки, – только древние, конечно, древние эллины, а не те, которые с радостью променяли драхмы на евро! – и способны, эякулировав в процессе дионисического исступления семя в тёмное лоно предыдущих аполлонических созерцаний, зачать трагедию.<sup>4</sup>

Время, место и раса были соединены вместе – случай редчайший! Так родилась редчайшая,<sup>5</sup> а следовательно, и самая аристократичная трагедия. Недаром Ницше вложит такое восклицание в уста персидского пророка: *«Случай» – это самая*

<sup>1</sup> *«Вместе с тем на территории самой Греции дорийцам, как настоящим варварам, пришедшим с севера, понадобилось немало времени, чтобы смягчить свои нравы в процессе общения с автохтонами под более светлым и мягким небом» «D'autre part, dans la Grèce propre, les Doriens, en véritables barbares venus du Nord, durent prendre le temps de se polir sous un ciel plus clair et plus doux au commerce des autochtones. Cela tint quelques siècles jusqu'à la naissance d'Homère».* Charles Maurras, *Anthinea*, Paris, Librairie Honoré et Édouard Champion Éditeurs, 1912, p. 43. Перевод автора.

<sup>2</sup> Cf. Thucydide, *La guerre du Péloponnèse I*, Paris, Éditions Gallimard, 2000, p. 37

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 63. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>4</sup> *«Оставляя этот увещательный тон и нисходя до построения, приличествующего созерцающему, я повторяю, что только у греков мы можем научиться тому значению, которое имеет для сокровеннейших жизненных глубин народа подобное, чудесное в своей внезапности, пробуждение трагедии».* Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Т. 1. С. 139.

<sup>5</sup> Как не вспомнить здесь господина Тэна, *«т. е. первого из живущих историков...»* (Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла*. Там же. Т. 2. С. 373).

*древняя аристократия мира...»*.<sup>1</sup> Сократ же и его «маска» (Еврипид, пока он не покинет погрязшие в демократической скверне Афины, чтобы снова начать творить как поэт – «неразумно» – при дворе македонского монарха) уничтожают эту редчайшую аристократическую трагедию. Вот что пишет об этом Ницше: «...*Еврипид боролся с эсхиловской трагедией и победил её*».<sup>2</sup>

Набоков подчеркивает столь дорогой для ницшеанца факт противостояния в *Даре* поэта-аристократа и плебея-ученого, врага ямба. Душа Чернышевского склоняется к трёхдольнику и отторгает ямб чисто инстинктивно, как душа плебея также инстинктивно просто не в силах принять любого проявления аристократизма: «*Чернышевский учуял в трёхдольнике что-то демократическое, милое сердцу, "свободное", но и дидактическое, в отличие от аристократизма и антологичности ямба...*»<sup>3</sup>

Более того, как только любимый Чернышевским трёхдольник превращается в символ благородства и святости, он тотчас становится ненавистным русскому Сократу: «*Чрезвычайно знаменательна в отношении ко всему этому попытка Чернышевского доказать («Современник», 56 г.), что трёхдольный размер стиха языку нашему свойственнее, чем двухдольный. Первый (кроме того случая, когда из него составляется благородный, "священный", а потому ненавистный гексаметр) казался Чернышевскому естественнее, "здоровее" двудольного, как плохому наезднику галоп кажется "проще" рыси*».<sup>4</sup>



Набокову недостаточно просто заклеить русского Сократа как плебея. «*Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es*» – эту пословицу применяет Набоков по отношению к Чернышевскому, чтобы показать, что и все его окружение – плебеи-демократы.

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 118.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Т. 1. С. 102.

<sup>3</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 216–217.

<sup>4</sup> Там же. Т. 3. С. 216.

Чернышевский восхищается их творчеством и подражает им, но даже здесь, как и всякий «добрый» ницшеанец, Набоков не забывает о тех, кто находится по другую сторону фронта. И Набоков снова проводит четкую границу между аристократом Пушкиным и плебейскими «стихотворцами», оцененными Чернышевским куда выше Пушкина: «он [Чернышевский. – А. Л.] ставил Некрасова выше всех (и Пушкина и Лермонтова, и Кольцова)».<sup>1</sup> А принимаясь подражать Некрасову, Чернышевский достигает самого плачевного результата: «...Чернышевский, словно пародируя и до абсурда доводя некрасовский прием, побил рекорд неударяемости: “в стране гор, в стране роз, равнин полночи дочь” (стихи к жене, 75 год)».<sup>2</sup>

Ратуя за трехдольник, Чернышевский пытается пользоваться им и в прозе. Но и тут его ждёт неудача: его текст звучит ямбом-аристократом – этой «белой костью среди размеров»,<sup>3</sup> спешит уточнить ницшеанец Набоков.



И чтобы окончательно разоблачить в *Даре* Чернышевского «последнего человека», Набоков выставляет напоказ самую сокровенную причину не любви Чернышевского к Пушкину: Пушкин-де, настолько своеобразен, что непонятен толпе: «“Поэтические произведения хороши тогда, когда, прочитав их, к а ж д ы й [разрядка] говорит: да, это не только правдоподобно, но иначе и быть не могло, потому что всегда так бывает”».<sup>4</sup>

Находка Набокова превосходна, ибо ещё раз судьба любезно предоставила материал в предвидении нужд биографа – сам того не подозревая, Чернышевский высказывает мнение прямо противоположное идее Фридриха Ницше, в основе которой также лежит слово «каждый» и где неполиткорректный перс снова воспевает неравенство: «То, что к а ж д ы й [Разрядка моя. – А. Л.] имеет право учиться читать, портит надолго не только писание, но и мысль».<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 226.

<sup>2</sup> Там же. С. 217. Курсив Набокова.

<sup>3</sup> Там же. С. 217.

<sup>4</sup> Там же. С. 229–230.

<sup>5</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 29.



Здесь еще раз можно констатировать набоковское желание подчеркнуть несоответствие оптимистического мировоззрения наследников Сократа с жизнью, которая сама по себе «пессимистична» [а значит, и ницшеанка! – Уж больно она любит посекретничать с Заратустрой («*И я сказал ей нечто на ухо, прямо в её спутанные, жёлтые, безумные пряди волос. – “Ты знаешь это, о Заратустра? Этого не знает никто...”*»<sup>1</sup>), да поплясать с пророком танец Медузы-Кармен («*Только дважды коснулась ручонками ты погремушки своей – и уже закачалась нога моя в приступе танца. – Пятки мои покидали уже землю, замер я на носках, тебе внемля: ведь уши танцора – в цыпочках его! К тебе прыгнул я – ты отпрянула вмиг; и лизнули меня на лету зашипевшие змейки волос вдруг взлетевших твоих!*»)<sup>2</sup>], ибо что бы ни утверждал Сократ и его «охло-последователи» – в основе своей люди не равны.

Когда у Набокова заходит речь о других истинных поэтах, кроме Пушкина, то Сократ-Чернышевский их также не принимает. И Набоков спешит подчеркнуть в *Даре* эту неприязнь, а также тот факт, что каждый раз эти ненавистные Чернышевскому созидатели так или иначе связаны с Ницше, с аристократией.

Так, Фет не более чем «идиот, опошлявающий публику», заявляет русский Сократ и не забывает тотчас польстить Тургеневу, которого он считал союзником в своей борьбе<sup>3</sup>: «*Шелест, робкое ды-*

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 165. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>2</sup> Двадцать раз услышанная Фридрихом Ницше опера Бизе *Кармен* вошла в *Заратустру*. Не с Кармен ли – самой жизнью, снабжённой не только кастаньетками плясуньи, но и змеями Медузой причёски, – танцует персидский пророк Персей («*Я слышал вчера – поверите ли – в двадцатый раз шедевр Бизе*»). Там же. С. 163–164.

<sup>3</sup> В моей статье *Будущее сократического человека у Тургенева* я доказываю, что Тургенев-Кармазинов – «животное политическое» и находился (по слабости характера русского барина-декадента) под влиянием эгалитаристских идей, но Тургенев-артист был противником оптимистической доктрины, которую Сократ принёс индоевропейской цивилизации. Мое выступление о Тургеневе, как предтече Ницше, на конференции по абсурду, организованной в октябре 2001 года в Цюрихе, чрезвычайно странным образом не попала в Сборник Конференции. Официальная причина, – «излишнее количество при-

ханье, трели соловья. Автор её некто Фет, бывший в своё время известным поэтом. Идиот, каких мало на свете. Писал это серьёзно, и над ним хохотали до боли в боках” (Фета, как и Толстого, он не терпел; в 56 году, любезничая с Тургеневым – ради “Современника”, – он ему писал, “Что никакие «Юности», ни даже стихи Фета... не могут настолько опошлить публику, чтобы она не могла...” – следует грубый комплимент)». <sup>1</sup>

И снова у Набокова наступает черёд противопоставлений: если Фет для Чернышевского Дара – идиот, то ницшеановский герой Константин Годунов-Чердынцев знает Бабочку Фета наизусть: «Ещё он цитировал, помнится, несравненную Бабочку Фета и тютчевские Тени сизые...». <sup>2</sup> И эта любовь к поэзии Фета – своеобразный комплимент Константина Кирилловича, который, и Набоков это подчёркивает, предпочитал исключительно пушкинскую поэзию: «Мой отец мало интересовался стихами, делая исключение только для Пушкина: он знал его, как иные знают церковную службу, и, гуляя, любил декламировать». <sup>3</sup>

Его сын Фёдор в своеобразном внутреннем монологе отзываясь о Фете так же благоприятно: «Наши общественно настроенные олухи понимали его [Фета. – А. Л.] иначе. Нет, я всё ему прощаю, прозвенело в померкнувшем лугу, за росы счастья, за дышащую бабочку». <sup>4</sup>

Но что интересно, Фет сам был связан с Ницше, а именно – с тем русским переводом, с которым был знаком и Набоков. Язык немцев Набокову был не по вкусу, – хотя для Ницше он мог бы сделать исключение: «За пятнадцать лет жизни в Германии <...> не познакомился близко ни с одним

---

меров и недостаточность рассуждений» – напомним, скандальный *Выздоравливающий* Анатолия Ливри, вышел в Париже в мае 2002 года! Эта же мол статья, переведённая на французский («Insiste, anime meus», как говорит Блаженный Августин), была опубликована в самом престижном журнале эллинистов Франции. См.: Livry Anatoly, *L'avenir de l'homme socratique chez Touguénev*, Bulletin de l'Association Guillaume Budé, Belles Lettres, numéro, 2 – 2003, p. 151–169.

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 215.

<sup>2</sup> Там же. Т. 3. С. 133.

<sup>3</sup> Там же. Т. 3. С. 133.

<sup>4</sup> Там же. Т. 3. С. 67.

немцем, не прочел ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства от незнания немецкого языка»<sup>1</sup> – и Набоков читал Ницше по-русски. *Рождение трагедии* было переведено на русский Г. А. Рачинским и опубликовано в России в 1912 году.<sup>2</sup> Но Рачинский не взял на себя труд перевода стихотворных строк, цитируемых Ницше в своей работе; да и верно: большинство стихов уже были переведены на русский до него. И гётевского *Прометея*, которого Ницше цитирует в девятой главе *Рождения трагедии* на русский перевёл тоже Фет. Именно его стихи восемнадцатилетний Набоков и читал в Ялте, знакомясь с первой крупной работой Фридриха Ницше. Эта деталь, конечно же, не особенно важна, но как и все хорошие, – «добрые», как сказал бы Ницше, – вещи, творчество складывается из великого множества нюансов. Поэтому Набоков, имея в виду, конечно же, Чернышевского и его демократическое окружение, так отзывается об этих гонителях Фета: «*Наши общественно настроенные олухи...*»<sup>3</sup>

К противостоянию Чернышевского аристократам-созидателям можно отнести и его нападки на Льва Толстого. Ведь когда в четвёртой главе *Дара* упоминается Толстой, то высказывание Чернышевского насчёт автора *Войны и мира* звучит не более и не менее, как твяканье завистливого плебея-Терсита перед ахейским войском: «*Из разговора с ним [с Чернышевским. – А. Л.] в Астрахани выясняется: “да-с, графский-то титул и сделал из Толстого великого-писателя-земли-русской”...*»<sup>4</sup>

Но именно в философии, в области творчества самой близкой к поэзии (следовательно, и к богам, как верно заметил основатель Лицея), Чернышевский, как представляется Набокову, есть плебей *par excellence*.

Так, Чернышевский предпочитает философию Фейербаха, и Набоков (в качестве истинного ницше-

<sup>1</sup> Набоков В. *Другие берега*. Т. 4. С. 284.

<sup>2</sup> «Для настоящего издания использован русский перевод книги, сделанный Г. А. Рачинским и опубликованный в 1-м томе Полного собрания сочинений Ницше (М., 1912; из запланированных десяти томов вышли в свет т. I, II, III, IX)» Ницше Ф. Там же. Т. 1. С. 778.

<sup>3</sup> Набоков В. *Дар*. С. 67.

<sup>4</sup> Там же. Т. 3. С. 227.

анца) спешит подчеркнуть, что именно демократическая простота «Андрея Ивановича» Фейербаха была по душе Чернышевскому: *«Простак Фейербах был Чернышевскому больше по вкусу»*.<sup>1</sup> И раз произнеся имя Фейербаха на страницах своего романа, Набоков продолжает ницшевское разбирание по косточкам своего Чернышевского: Фейербах Чернышевскому по душе, но Гегель, точно так же как и Пушкин, – непонятен, и непонятен не только ему, но и целой своре окружающих Чернышевского революционно настроенных чандал-интеллигентов: *«Властители дум понять не могли живительную истину Гегеля: истину, не стоячую, как мелкая вода, а, как кровь, струящуюся в самом процессе познания»*.<sup>2</sup>

Приведённое выше набоковское определение мысли Гегеля – определение истинного ницшеанца. Каждому знатоку творчества Ницше известно ницшевское сравнение пророка с глубоким морем, а также сравнение крови с человеческим духом: *«Из всего написанного люблю я только то, что пишется своей кровью. Пиши кровью – и ты узнаешь, что кровь есть дух»*<sup>3</sup> – и это поистине превосходная парафраза персом *Ветхого Завета*: *«Только крепись, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа; и не ешь души вместе с мясом»*<sup>4</sup> – где уж русскому Сократу прочувствовать и полюбить «кровавую глубину духа», дорогую всякому ницшеанцу. Нет! Ему по вкусу мелкая стоячая вода, которая, гния и покрываясь тиной, скрывает трясину учёного болота. Правильно, читательница, идём-ка отсюда туда, где дышится легко, где воздух чист и начинает становиться немного разреженным – к Шопенгауэру, чьё имя буквально неотделимо от Ницше: *«Я принадлежу к тем читателям Шопенгауэра, которые, прочитав одну его страницу, вполне уверены, что они прочитают всё, написанное им, и будут слушать каждое сказанное им слово»*.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 219.

<sup>2</sup> Там же. С. 219.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 28.

<sup>4</sup> Библия. *Ветхий Завет*. Берлин, 1922. С. 191.

<sup>5</sup> Nietzsche F. *Unzeitgemässe Betrachtungen III, Schopenhauer als Erzieher 2 in Sämtliche Werke*, München, de Gruyter, 1999, t. 1, p. 346. Свасьян К. А. *Фридрих Ницше: мученик познания* // Ницше Ф. М., 1990. Т. 1. С. 8

Всё, что непонятно сократическим людям, презирается ими. Обо всем возвышенным судят они как о равном себе, ведь, по их мнению, миром правит равенство. А это вряд ли было по сердцу Набокову. Поэтому обезьяна Заратустры из *Дара* позволяет себе свысока судить об учителе Ницше. И ницшеанец Набоков тотчас расставляет точки над «i», ясно давая понять, что он думает о сопоставлении Шопенгауэра и русского Сократа-шестидесятника: *«Пренебрежительно и развязно суд[ил] о Шопенгауэре, под критическим ногтём которого его [Чернышевского. – А. Л.] философия не прожила бы и секунды...»*<sup>1</sup>

В прозе Набокова диалектики вообще дурно пахнут или связаны с неприятными насекомыми, с теми самыми, которых так часто «казнят» гоголевские персонажи. Например, философия Чернышевского предстаёт эдакой вошью под ногтём великого пессимиста, возвращаясь к аристократу Толстому, Набоков спешит уточнить, что именно *«...Толстой называл его [Чернышевского. – А. Л.] клоповоняющим господином...»*<sup>2</sup> В *Даре* аристократы духа и аристократы крови, даже те, у которых нет ни малейших оснований друг друга любить (тут нельзя не вспомнить и взаимной неприязни<sup>3</sup> Ницше и Толстого), выражают согласие, когда речь заходит о Сократе, будь он афинским или русским. А ницшеанец Набоков беспрестанно напоминает об этом нам с тобой, читательница.



Для того чтобы подчеркнуть те качества Чернышевского, которые делают из него стерильного учёного, наследника Сократа, Набоков использует ещё один образ, данный Фридрихом Ницше.

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 221.

<sup>2</sup> Там же. С. 224.

<sup>3</sup> Ницше пишет о *«литературн[ом] décadence от Санкт-Петербурга до Парижа, от Толстого до Вагнера»*. Ницше Ф. *Эссе ното*. Там же. М., 1990. Т. 2. С. 636. А Толстой не перестает нападать на Ницше и его последователей: *«...все чаще и чаще повторяющиеся в последнее время произведения, передающие чувства гордости, отчаяния, сладострастия и, главное, дикого восхваляемого эгоизма, доходящего, как у Ницше и его последователей, до мании величия»* (Толстой Л. Собр. соч. М., 1951. Т. 30. С. 415).

Его Заратустра говорит об учёных-диалектиках в таких словах: *«Вот стоите вы, чтимые, строгие, с прямыми спинами, вы, прославленные мудрецы! – вами не движет могучий ветер и сильная воля»*.<sup>1</sup>

Противоположностью учёного с прямой спиной, затвердевшей от сухих (и оптимистических) истин, является созидатель, подлинный философ. Им движет могучий ветер вдохновения, а потому он должен быть гибким, лёгким, упругим, и в то же самое время способным мощно распрямиться – как смертоносное оружие перса – лук – этот символ трагического. И как дерево, с которым один из королей почтительно сравнивает Заратустру (*«С пинией сравниваю я, о Заратустра, всякого, кто вырастает подобно тебе [Как тут не вспомнить о Мандельштамовых пиниях и о его же «не вифлеемском мирном плотнике, а другом...»!* – А. Л.]: *высокий, молчаливый, твёрдый, одинокий, простирающий крепкие ветви за пределы господства своего, мощно вопрошающий ветры и бурю и всё, что от века близко к высотам...»*<sup>2</sup>). И как парус, надуваемый ветром только что открытых южных морей философии:

*«Вдаль – хочу я: и отныне  
Только выбор мой со мной.  
Мчится в пагубные сини  
Генуэзский парус мой.  
Всё блестит мне быстротечно,  
Полдень спит в объятьях дня –  
Только глаз твой, бесконечность,  
Жутко смотрит на меня!»*<sup>3</sup>

Именно для того, чтобы показать сократическому тугодуму разницу между творцом и александрийским библиотекарем, Заратустра бросает учёным такой образ:

*«Видели ли вы когда-нибудь парус на море, округлённый, надутый ветром и дрожащий от бури? Подобно парусу, дрожащему от бури духа, проходит по морю моя мудрость – моя дикая мудрость»*.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 75.

<sup>2</sup> Там же. С. 202. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *К новым морям*. (Приложение к *Весёлой науке*) / Перевод К. А. Свасьяна.) М., 1990. Т. 1. С. 717–718.

<sup>4</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 75.

И может быть, хоть один из вас, теперешних мутноглазых компиляторов, услышав эту плясую прозу, этот призыв к танцу, к разбойным налётам и скитаниям, побросает на пол пыльные томищи, истопчет их ногами и, хлопнувши дверью (а может, и разнеся её вдребезги!) покинет душный дом учёных?! Но нет. Все попрятались под столы. Ждут, пока кончит дуть ветер, пока стихнет эхо крика арийцев. Ну что ж, ведь она действительно верна, эта пословица Заратустры: *«Если же не удался человек – ну что ж!»*<sup>1</sup> Что же нам с читательницей до того, что вы сделаны из дурного теста – и не удались!

Только одинокий скиталец, вольный флибустьер – паруса его корабля должны быть наполнены могучим ветром познания – достоин отправиться в *сверхевропейский* путь на поиски страны духовных наследников персидского пророка, страны его «детей», страны *сверхчеловека*: *«Страну детей ваших должны вы любить: эта любовь да будет вашей новой знатью, – страну, ещё не открытую, лежащую в самых далёких морях! И пусть ищут и ищут её ваши паруса!»*<sup>2</sup>

Теперь ясно, почему ницшеанец Набоков представляет Чернышевского идеальным антагонистом надутого паруса – прямоспинным учёным. Вот как Набоков пишет о русском Сократе: *«...человек – прямой и твёрдый, как дубовый ствол...»*<sup>3</sup>

Необходимо подчеркнуть, что образ иссушенного сократическими знаниями александрийского человека неотделим от набоковского творчества. Этот образ разрабатывался писателем ещё в начале 30-х годов во время его работы над *Подвигом*. Наставник героя, Арчибальд Мун, сделал из России мумию (*«Порою он [Мартын. – А. Л.] любовался мастерством его лекций, но тотчас же, почти воочию, видел, как Мун уносит к себе саркофаг с мумией Росши»*),<sup>4</sup> – Россия же предстаёт в *Подвиге* ницшеановской мифической родиной поэтов, – Мун описывается Набоковым как неспособный к гиб-

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 211.

<sup>2</sup> Там же. С. 147.

<sup>3</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 195.

<sup>4</sup> Набоков В. *Подвиг*. Там же. Т. 2. С. 221.

кой духовной мощи, как чуждый созидательному исступлению учёный с высохшим скелетом и негнуцимся хребтом: «Арчибальд Мун попрощался на первом же углу и, нежно улыгнувшись Вадиму (который за его спиной обычно звал его заборным словцом с приставкой “на колёсиках”), удалился, держась очень прямо».<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Набоков В. *Подвиг*. Там же. Т. 2. С. 203–204.





## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

# ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО ЧЕЛОВЕКА

*Весь современный нам мир бьётся  
в сетях александрийской культуры.*

**Фридрих Ницше.**

Рождение трагедии из духа музыки

Заратустра, остроглазый философ-прозорливец, обладает дивным даром разглядеть в любом бесформенном камне (или в пирамидальном валуне!) прекрасный образ будущего творения. Но одного взгляда ему недостаточно, необходимы мощные руки скульптора и неистощимая энергия творца:

*«Но всегда к человеку влечёт меня сызнова  
пламенная воля моя к созиданию; так устремляется  
молот на камень.*

*Ах, люди, в камне дремлет для меня образ,  
раз моих образов! Ах, он должен дремать в самом  
твёрдом, самом безобразном камне!*

*Теперь дико устремляется мой молот на свою  
тюрьму. От камня летят куски; какое мне дело  
до этого?»<sup>1</sup>*

Образ, данный Заратустрой, сам по себе подразумевает неравенство людей с самого их рождения, опровергая декларацию пресловутых «прав человека», составленную *настоящими* террористами, которых Тэн называл кровожадными «крокодилами», – ведь камень-то может быть просто непригодным к созиданию. Этот образ взят Фридрихом Ницше у Диона Златоуста, чьё мировоззрение было дорого Фридриху Ницше и своей незави-

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 62.

симостью перед всемогущим императором, и духом евразийского изгнанничества, и стоицизмом доброго эллина. Так, сошедший на пристань странник в заношенной тоге, ещё не привыкнув к относительной неподвижности земли, с презрением поглядывает на богато одетую челядь, перенявшую плавную жестикоуляцию своих бар, и все вокруг понимают, что он имеет право смотреть так. Дион Хризостом вкладывает в уста Фидия именно такие слова.<sup>1</sup> Так мысль Диона приходит к Заратустре, наткнувшись по пути на *гибнущего* европейца Паскаля, которого Ницше читал (или перечитывал) в момент написания *Заратустры* и о котором пишет в *По ту сторону добра и зла*: «Кто же с обратными потребностями, не по-эпикурийски, а с неким божественным молотом в руках подошёл бы к этому почти произвольному вырождающемуся и гибнущему человеку, каким представлялся европейский христианин (например, Паскаль), разве тот не закричит с гневом, состраданием и ужасом: “О болваны, чванливые сострадательные болваны, что вы наделали! Разве это была работа для ваших рук! Как искрошили, как изгадили вы мне мой лучший камень! Что позволили вы себе сделать!”»<sup>2</sup>

Установив генеалогию этой ницшевской мысли, обратимся теперь к ницшеанцу Набокову и посмотрим, что тот делает с ней в *Даре*.

Следуя логике моей «невозможной» (как, гордясь, сказал бы и сам Ницше) книги, ницшеанец Набоков наделяет своего *созидателя* качествами прозорливца. Фёдор буквально парафразирует Заратустру, заявляя о своей способности разглядеть будущую книгу в «чернильных дебрях»: «*Временами я чувствую, что где-то она уже написана мной, что вот она скрывается тут, в чернильных дебрях, что её только нужно высвободить по частям из мрака, и части сложатся сами...*»<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Dion Chrysostom. Οὐμπλικὸς ἡ περὶ τῆς πρώτης Olympic discourse εἰννοίας 44, 45, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1939, p. 48–50.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла* / Там же. Т. 2. С. 290. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>3</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 125.

Чернышевский – учёный, и хоть он и противник ницшеановского созидателя, но пользуется теми же самыми чернилами. И окажись Чернышевский способным творить, он воспользовался бы этими чернилами, как ницшеанец Фёдор. Только русский Сократ – «антисозидатель», вот как он использует материю, предназначенную для созидания: «Чернилами же (чернила в сущности были природной стихией Чернышевского, который буквально купался в них) он мазал трещины на обуви, когда не хватало ваксы...»<sup>1</sup>; но и этого недостаточно злорадному ницшеанцу Набокову, и он продолжает: «...ниток чёрных не оказалось, потому он [Чернышевский – А. Л.] какие нашлись, принялся макать в чернила...»<sup>2</sup>

Русский Сократ не только неспособен разглядеть будущее творение в чернильнице. Для подлинного поэта чернила есть среда, куда надо «вгрызаться», то же, что и камень для скульптора, среда, которую ему надо раздробить, разрушить, чтобы переиначить её на свой лад, придать индивидуальную форму, которая по вкусу лишь ему, творцу, а не кому-нибудь другому. Так вот, эта среда принимает в себя Чернышевского Дара, как чернильница муху, и он уже не созидатель, а пассивная часть этой материи, он плавает в ней, как премудрый чернильный пискар, которому, сколько бы он ни умничал (уж проглотите эту пилюлю, товарищи учёные), никогда не понять поэта. О таких Чернышевских говорит Заратустра: «И ещё более странным звучит моё слово для всех чернильных рыб и лисиц пера».<sup>3</sup>



Уметь жить в одиночестве – необходимое качество всякого творца. Заратустра неоднократно воспекает одиночество как обязательное условие созидания: «О, одиночество! Ты отчизна моя, одиночество! Слишком долго жил я диким на далёкой чужбине, чтобы не возвратиться со сле-

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 202.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. С. 138.

зами к тебе!»<sup>1</sup> А потому пророк оставляет учеников, чтобы подняться в одиночестве на гору: «Ученики мои, теперь ухожу я один! Уходите и вы, и тоже одни! Так хочу я».<sup>2</sup> Да и сам Ницше заявляет о себе как о творце, нуждающемся в одиночестве, и чем выше находится он над — über — людьми, чем чище воздух вокруг созидателя, тем совершеннее продукт его творчества: «Моя гуманность есть постоянное самоопределение. Но мне нужно одиночество, я хочу сказать, исцеление, возвращение к самому себе, дыхание свободного, лёгкого, играющего воздуха... Весь мой Заратустра есть дифирамб одиночеству, или, если меня поняли, чистоте...»<sup>3</sup>

Следовательно, и читателю Ницше, чтобы просто понять (да и прочувствовать — а это ещё важнее) философа, надо иметь от рождения такие же здоровые ноги, что были у перса, и вместе с тем хорошенько потрудиться, прежде чем подняться высоко в горы, туда, где так легко дышится и где учёный-диалектик (если забросить его туда вертолётном или Воландовым колдовством) тотчас скорчится в приступе кашля и перестанет страдать от одышки и головокружения только тогда, когда его снова спустят вниз и он сможет наконец-то схорониться за баррикадой стола своей пыльной библиотеки: «Тот, кто умеет дышать воздухом моих сочинений, знает, что это воздух высот, здоровый воздух. Надо быть созданным для того, иначе рискуешь простудиться. Лед вблизи, чудовищное одиночество — но как безмятежно покоятся все вещи в свете дня! как легко дышится! сколь многое чувствуешь ниже себя!»<sup>4</sup>

Используя приведённый выше образ Ницше, Набоков неоднократно обращает свой взгляд к горным высотам<sup>5</sup> и делает из своего творца любителя одиночества.<sup>6</sup> Живущий в Берлине Фёдор Го-

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. С. 131.

<sup>2</sup> Там же. С. 56.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Эссе homo*. Там же. Т. 2. С. 706–707.

<sup>4</sup> Там же. С. 695.

<sup>5</sup> В 1923 году Набоков публикует сборник стихов *Горный путь* (Издательство Грани, Берлин).

<sup>6</sup> Несомненный интерес представляет персонаж незаконченного романа Набокова *Solus Rex*, а также король из *Бледного огня*.

дунов-Чердынцев также описывается Набоковым как отшельник на высокой, покрытой снегом горе: *За последние десять лет одинокой и сдержанной молодости [Фёдор Константинович. – А. Л.] жил на скале, где всегда было немножко снега, и откуда было далеко спускаться в пивоваренный городок<sup>1</sup> под горой...»<sup>2</sup> Конечно же, если набоковский герой-ницшеанец следует заветам Заратустры и правилам жизни самого Ницше, уединяется как для созидания, так и для аполлонической фазы – созерцания, предшествующего этому созиданию, то, в противоположность ему, Чернышевский просто не в силах сосредоточиться. Ведь деятельность диалектика-учёного неотделима от города, ненавистного Заратустре:*

*«Мне противен также этот большой город, а не только этот шут [ещё одна обезьяна Заратустры]. И здесь и там нечего улучшать, нечего ухудшать! Горе этому большому городу! – И мне хотелось бы уже видеть огненный столб, в котором сгорит он!»<sup>3</sup>*

Слабовольного, а потому неспособного ни к одиночеству, ни к ницшевскому созиданию Чернышевского постоянно отвлекают от работы посторонние: *«Ему мешали посетители. Не умея избавиться от докучливого гостя, он, к собственному озлоблению, всё более ввязывался в беседу. Прислонившись к камину и что-нибудь теребя, он говорил звонким, пискливым голосом, а ежели думал о другом, тянул что-то однообразное, с прожёвкой, с обильным: ну-с, да-с»<sup>4</sup>* Ему мешают работать студенты-кавказцы, явно равнодушные к жене революционера-рогоносца, сама саратовская Ксантиппа, носившая замечательное отчество, Сократовна, принимает в развлечениях

<sup>1</sup> Здесь Набоков противопоставляет два вида опьянения, опьянение от пива и опьянение от вина. Пиво – «пивоваренный городок» символизирует современную ему Германию. То есть, он поступает как Ницше, противопоставлявший себя немцам любителям пива: «...в Мюнхене живут мои антиподы» (Ницше Ф. *Эссе homo*. Там же. Т. 2. С. 709).

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 148.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 128.

<sup>4</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 224.

активнейшее участие: «Раз, накануне нового года, грузины, во главе с гогочущим Гогоберидзе, ворвались в его кабинет, вытащили его, Ольга Сократовна накинула на него мантилью и заставила плясать».<sup>1</sup>

Позже, в ссылке, ему не дают спокойно работать совершенно равнодушные к страданиям революционера «неблагодарные» поляки:

*«...днём непосредственные соседи его, поляки-националисты, совершенно к нему равнодушные, затеяв игру на скрипках, терзали его несмазанной музыкой: по профессии они были колесники».*<sup>2</sup>

А потому, – и да простят мне это открытие, – «созидательную деятельность» Чернышевского можно охарактеризовать как перманентное желание русского Сократа отбиться от осаждающих его людей. А так как это Чернышевскому не под силу, то ему ничего не остаётся, как штамповать на скорую руку свои поверхностные, но вошедшие в моду «учёно-журналистские» шедевры,<sup>3</sup> напрочь лишённые даже тени вдохновения, лишённые искры поэтической инспирации, таланта и признака какой бы то ни было культуры, а следовательно, рассчитанные явно не на глубокого читателя. Вот как, согласно утверждению Набокова, зародилась эстетическая концепция сократического учёного: «Смело можно сказать, что в те минуты, когда он льнул к витрине, полностью создалась его нехитрая магистерская диссертация "Эстетические отношения искусства к действительности" (не удивительно, что он её впоследствии написал прямо набело, сплеча, в три ночи...)»<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Набоков В. Дар. Т. 3. С. 211.

<sup>2</sup> Там же. С. 256.

<sup>3</sup> «... "журналист", этот бумажный раб дня, во всех сферах образования одержал победу над профессором, и последнему остаётся лишь обычная теперь метаморфоза – самому писать в манере журналиста и порхать со свойственным этой сфере "лёгким изяществом" в качестве весёлого и образованного мотылька...» (Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Там же. Т. 1. С. 137).

<sup>4</sup> Набоков В. Дар. Т. 3. С. 201.

Городское творчество Чернышевского настолько ужасно, что даже его соратники по разрушительной борьбе не в силах удержаться, чтобы не по критиковать *Что делать?* самый известный труд нашего Сократа: «*Даже Герцен, находя, что “гнусно написано”, тотчас оговаривался: “с другой стороны, много хорошего, здорового”*».<sup>1</sup>



«Добрый» человек, в латинском смысле слова *virtù*, хорош везде и во всём. Если он решил быть поэтом, то в своей «сверхдоброте» он настолько близок Олимпу, что ему случается иной раз повстречать и бога, не говоря уж о живущих в олимпийской прихожей Музах:

*«Ныне поведайте, Музы, живущие в сеньях Олимпа,  
Кто Агамемнону противостоял на сражении...»*<sup>2</sup>

Да и *Одиссея*, так же как *Илиада* – не стану вступать в спор с правдолюбом Лукианом о том, какой из эпосов был написан Гомером раньше – начинается длинным и почтительным обращением поэта к Музе:

*«Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который,  
Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен,  
Многих людей, города посетил и обычаи видел,  
Много и сердцем скорбел на морях, о спасенье заботясь  
Жизни своей и возврате в отчизну сопутников; тщетны  
Были, однако, заботы, не спас он сопутников: сами  
Гибель они на себя навлекли святотатством, безумцы,  
Съевши быков Гелиоса, над нами ходящего бога, –  
Сень возврате у них он похитил. Скажи же об этом  
Что-нибудь нам, о Зевесова дочь, благосклонная Муза»*.<sup>3</sup>

Для Ницше, напомню, Гомер – *сверхпроницательный* поэт. И последователь философа не может позволить себе не знать Гомера досконально. Таков Набоков, и он использует своё доскональное знание *сверхпоэта* ещё и для того, чтобы позаим-

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. С. 248.

<sup>2</sup> Гомер. *Илиада* / Перевод с древнегреческого Н. Гнедича. XI, v. 218–219, М., 1986. С. 150.

<sup>3</sup> Гомер. *Одиссея* / Перевод с древнегреческого Н. Гнедича. I, v. 1–10, М., 1984. С. 15.

ствовать у него ещё один образ, благодаря которому можно выставить на всеобщее посмешище «антигероическую» сущность русского Сократа. Так, в *Даре* Муза Чернышевского – это... дородная старуха-кухарка, которая не брезгует копаться в мусорном ведре и продавать своего хозяина за несколько целковых: «...у Николая Гавриловича служила в кухарках жена швейцара, рослая, румяная старуха с несколько неожиданным именем: Муза. Её без труда подкупили – пятирублёвкой на кофе, до которого она была весьма лакома. За это Муза доставляла содержание мусорной корзины».<sup>1</sup>



Что же пишет набоковский Чернышевский? Для того чтобы подробнее ответить на этот вопрос, мне необходимо произвести ещё один набег в страну философии Ницше. Один из основополагающих законов этой новой, или же, скорее, этой забытой картографами и заново открытой Фридрихом Ницше земли, гласит: «философ есть врачеватель человечества».

Мысль эта уходит своими корнями в учение Гиппократата. Его совершенно новый подход к врачеванию распространился по Греции, и уже основатель Академии писал о Гиппократе: «Если должно в чем-то верить Асклепиаду Гиппократу, то даже природу тела нельзя постигнуть иным путем».<sup>2</sup>

Хорошо видящий платоновский человек ещё и обязательно «соглядатай».<sup>3</sup> Он наблюдает, изуча-

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 235.

<sup>2</sup> Платон. *Федр* / Перевод А. Н. Егунова. М., 1971. Т. 2. С. 210.

<sup>3</sup> «Имя “человек” означает, что тогда как остальные животные не наблюдают того, что видят, не производят сравнений, ничего не сопоставляют, человек, как только увидит что-то, а можно также сказать “уловит очами”, тотчас начинает приглядываться и размышлять над тем, что уловил. Поэтому-то он один из всех животных правильно называется “человеком” (anthropos), ведь он как бы “очеловец” того, что видит» (Платон. *Кратил* / Перевод Т. В. Васильевой. М., 1968. Т. 1. С. 436–437).



ет симптомы болезни, но только не тела, а неотделимого от тела духа. И впоследствии, становясь философом-врачевателем, способен — если, конечно же, он с рождения (ведь истина состоит в том, что люди от природы не равны<sup>1</sup>) обладает достаточными аналитическими способностями и силой воли, дабы противостоять пустоголовым, но горластым шаманам — предложить способы излечения человечества.<sup>2</sup>

Ницше неоднократно возвращался мыслью к *сверх*врачу Гиппократу.<sup>3</sup> Именно для того чтобы подчеркнуть связь Заратустры с Гиппократом и Платоном, Ницше останавливается на описании посоха, подаренного Заратустре его учениками: «...ученики его на прощанье подали ему посох, на золотой ручке которого была змея, обвившаяся вокруг солнца».<sup>4</sup> И это не случайно. Символ мудрости — змея, сопровождающая Заратустру (символ смертоносной мудрости!); может быть, это та самая змея, которую пророк однажды так ловко и мудро провёл: да еще и воспользовался её укусом, чтобы дать ещё одну «неморальную» заповедь ученика.<sup>4</sup> Образ этой рептилии, хоть и гигантской, неотделим от Аполлона — одного из божеств трагедии: Аполлон убивает Пифию, нисходит в ад и через «ницшеановское» противоборство со змеем обретает высшую мудрость,<sup>5</sup> становясь через преступление

<sup>1</sup> *Ибо как говорит ко мне справедливость: "люди не равны". И они не должны быть равны!*

*Чем была бы моя любовь к сверхчеловеку, если бы я говорил иначе?»*

Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. С. 72.

<sup>2</sup> Жак Жуанна отметил, что, согласно Гиппократу, отличительное качество врачей-шарлатанов (этих софистов от медицины) — их умение выкручиваться. См.: *О священной болезни*, I, 8. Точно так же как Гиппократ, Платон называет философов-шарлатанов *αἰῦρται* (См.: Платон. *Государство*, III, 364, b–c) и обвиняет шарлатанов в атеизме. Ср.: Платон. *Законы*, 909, a–b; Гиппократ. *О священной болезни*, I, 8: Hippocrate, *La maladie sacrée*, I, 8, Paris, Les Belles Lettres, 2003, p. 7).

<sup>3</sup> Nietzsche F. *Morgenröthe*, in KSA 10, München, Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter, 1988, t. 3, p. 151 а также Friedrich Nietzsche, *Nachgelassene Fragmente, Nachlass Juni-Juli 1885* in KSA 11, München, Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter, 1988, t. 11, p. 554.

<sup>4</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 53.

<sup>5</sup> Плутарх. *О падении оракулов*. Plutargue; (*Euvres morales, Dialogues pythigues, Sur la disparition des oracles*), 21, Paris, Les Belles Lettres, 1974, p. 125–126.

и очищение от этого преступления пророком Зевса.<sup>1</sup>

Аполлон носит имя Пеона – врачевателя. Это искусство передаёт он Асклепию, своему сыну, ставшему впоследствии покровителем Гиппократа. Немаловажно заметить, что это искусство не приходит одно – одна из дочерей гигантского змея Пифия становится его неразлучной спутницей. Об этом повествует в *Плутосе* Аристофан,<sup>2</sup> называемый Фридрихом Ницше «просветляющим и восполняющим гением»<sup>3</sup> за то, что он первым сумел взглянуть в Сократе его презрение к богам, сделавших из греков избранный народ, и за то, что высмеял за это афинского диалектика ещё при жизни.

Ницшеанский герой Набокова – Константин Годунов-Чердынцев – не только носитель тайны, но и *сверхврач*. И я возьму на себя смелость утверждать, что именно сверхчеловеческие силы, которые Константин черпает из природы, делают его врачевателем. А его сын, становясь на путь ницшеанского *созидания*, «начинает понимать», насколько это искусство врача нравится ему: «Мне нравилась, – только теперь понимаю, как это нравилось мне – та особая вольная сноровка, которая появлялась у него при обращении с лошадью, с собакой, с ружьём, птицей или крестьянским мальчиком с вершиковой занозой в спине, – к нему вечно водили раненых, покалеченных, даже немощных, даже беременных баб, воспринимая, должно быть, его *таинственное занятие как знахарство*».<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Эсхил. *Евмениды*. Eschyle, *Euménides*, v. 17–19, Paris, Les Belles Lettres, 1972 (1925), p. 132.

<sup>2</sup> Аристофан. *Плутос*. Aristophane, *Ploutus*, v. 732–742, Paris, Les Belles Lettres, 1930, p. 124.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла* / Перевод Н. Полилова. М., 1990. Т. 2. С. 264.

<sup>4</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 102. В творчестве Набокова ясно прослеживается схема: совершенный, в ницшеановском смысле, отец передаёт (или пытается передать) достойному сыну некое заветное знание; а несовершенный дядя всегда находится рядом, дабы подчеркнуть совершенство первого. То же самое можно сказать и об отце самого Константина Кирилловича – легендарном, *сверхевропейском* и явно не пустоголовом Кирилле Ильиче. «*Сухощёков напрасно рисует моего деда пустоголовым удалыцом*» (Набоков В. *Дар*. С. 91), вспоминает Фёдор Годунов-Чердынцев о своём *деде*, а вовсе не о *дяде*, как неверно пишет Нора Букс (Букс Н. *Эшафот в хрустальном дворце*. М., 1998).

Константин не просто врач. Ко всему, что живёт вблизи воспетых Заратустрой горных высот, в том числе к Чердынцеву-отцу, постоянно можно применить ницшевскую частицу «über», и Набоков подчёркивает тот факт, что ницшеанец Константин – «Überarzt», *сверхврач*. Так, например, когда ненавистная ему война, которая раздирает европейский континент, калечит брата Константина, врача по профессии (но врача благодаря диплому, а не тайне, а значит, одного из великого множества обычных врачей), то *сверхврач* Константин по-асклепиевски спасает от Аида обыкновенного врача: *«Когда гости ушли, он [Константин Годунов-Чердынцев. – А. Л.] опустил в кресло, снял очки, провёл ладонью сверху вниз по лицу [любимейший жест Бенито Муссолини! – А. Л.] и сообщил, что дядя Олег опасно ранен осколком гранаты в живот <...>. В ту же ночь он поехал за ним в Галицию, необыкновенно скоро и удобно привёз, добыл лучших из лучших врачей, Гершензона, Ежова, Миллер-Мельницкого, сам присутствовал на длительных операциях... К Рождеству брат был здоров»*.<sup>1</sup>

В основе ницшеанского врачевания душ лежит извечная формула «антисократизма» – человек плох, а люди не равны. Поэтому-то, врачеватель человечества Заратустра и заявляет: *«Не надо желать быть врачом неизлечимых – так учит Заратустра»*.<sup>2</sup> И конечно же, персидский пророк должен до конца доказать, что он в силах следовать своей персидской добродетели, которая, по его мнению, подразделяется на две категории – смертоносную – стрелять из лука, и созидательную – говорить правду: *«“Говорить правду и хорошо владеть луком и стрелой” казалось в одно и то же время мило и тяжело тому народу, от которого идёт имя моё»*.<sup>3</sup>

И если уж быть правдивым, читательница (и я знаю, как это непросто), то в первую очередь по отношению к самому себе. Если считаешь себя в силах излечить человечество (или хотя бы *попытаться* его излечить), то докажи сначала, что сам

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 117–118.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 150.

<sup>3</sup> Там же. С. 42.

здоров, а ежели болен, то излечись: «*Врач, исцелись сам, и ты исцелишь также и больного*». Так учит бессмертно здоровый, – *é tutto festo* – «евангелист»<sup>1</sup> Заратустра.

Поэтому физиолог Ницше, в отличие от покладистого Сократа,<sup>2</sup> ни в коей мере не умаляет значимость этого фактора, без которого его собственное созидание было бы невозможным. И первая часть главы автобиографического *Ессе homo*, названная без ложной скромности «Почему я так умён», посвящается философом правильному выбору здорового питания, без которого тот никогда бы не достиг боевой формы созидания: «*Гораздо больше интересует меня вопрос, от которого больше зависит “спасение человечества”, чем от какой-нибудь теологической курьёзности: вопрос о питании. Для обиходного употребления можно сформулировать его таким образом: “как именно должен ты питаться, чтобы достигнуть максимума силы, virtù в стиле Ренессанс, добродетели, свободной от морали?”*»<sup>3</sup>

Этот выбор всецело зависит от воли творца и не имеет ни малейшей связи с бедностью или с богатством окружающих, или с политическим строем, где созидателю приходится обитать, или с провинциальным или столичным статусом города, где тот живёт. Но перечисленные выше социальные особенности чрезвычайно важны для Рахметова, который пользуется несомненной симпатией русского Сократа. И Набоков иронизирует в *Даре*, описывая Тайсона-Рахметова, питающегося согласно требованиям того, что Чернышевский называет «боксёрская диета»: «*...Рахметов принял боксёрскую диету – и диалектическую! Поэтому, если подавались фрукты, он абсолютно не ел яблоки, абсолютно не ел абрикосов; апельсины ел в Петербурге, не ел в провинции, – видите ли, в Петербурге простой народ ест их, а в провинции не ест*».<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Там же. С. 55.

<sup>2</sup> «*Сократ не в счёт: он способен и пить и не пить, так что, как бы мы ни поступили, он будет доволен*» (Платон. *Пир* / Перевод С. К. Анта. М., 1971. Т. 2. С. 102).

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Ессе homo*. Там же. Т. 2. С. 708. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>4</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 253. Курсив Набокова.

Как видим, Чернышевский в отличие от Набокова имел довольно-таки смутное представление о боксе, а «рахметовщина» *Что делать?* – это антиницшеанство во всей силе своей плебейской заразы. Но для нас, читательница, главное, что ницшеанец Набоков добивается своего – он показывает, что даже у меньшого братца Балды-Чернышевского нет ни малейших шансов стать *сверхчеловеческим* творцом.

А вот пример *Дара*, где Чернышевский предстаёт уже откровенной пародией на Заратустру. Набоков упоминает о *Персидской поэме*, которую написал этот знаменитый шестидесятник, это сразу же отсылает к родине Заратустры – Персии. Характерным для злющего ницшеанца Набокова является то, что он даже не находит нужным скрыть своего отношения к рифмованной «продукции» Чернышевского. Его поэма – «страшная вещь», пишет о ней Набоков: *«В 75 году (Пыпину) и снова в 88 г. (Лаврову) он посылает Староперсидскую поэму: страшная вещь! В одной из строк местоимение “их” повторяется семь раз...»*<sup>1</sup>



В своём первом крупном труде Ницше пишет о противоборстве аполлонического и дионисического начал, породивших в своей непримиримой борьбе трагедию: *«С <...> двумя божествами искусств, Аполлоном и Дионисом, связано наше знание о той огромной противоположности в происхождении и целях, которую мы встречаем в греческом мире между искусством пластических образов – аполлонистическим – и непластическим искусством музыки – искусством Диониса; эти два столь различных стремления действуют рядом одно с другим, чаще всего в открытом раздоре между собой и взаимно побуждая друг друга ко всё новым и более мощным порождениям, дабы в них увековечить борьбу названных противополож-*

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 259.

ностей, только, по-видимому, соединённых общим словом “искусство”; пока наконец чудодейственным метафизическим актом эллинской “воли” они не явятся связанными в некоторую постоянную двойственность и в этой двойственности не создадут наконец столь же дионисического, сколь и аполлонического произведения искусства – аттической трагедии».<sup>1</sup>

Я уже упоминал об образе лука с натянутой тетивой, который превосходно символизирует это противостояние: аполлоническое и дионисическое начала располагаются на противоположных концах персидского лука, создавая таким образом необходимое для стрельбы напряжение. И всякий подлинный философ подобен этому смертоносному оружию и является носителем противоположных и взаимодополняющих друг друга сущностей, всякий подлинный философ – двулик, или даже многолик, а потому недоступен понятию профана.

Ницше прямо заявляет о том, что он является пророком, вершителем судеб мира, основателем нового, доселе неизвестного царства (*«Я знаю свой жребий. Когда-нибудь с моим именем будет связываться воспоминание о чём-то чудовищном – о кризисе, какого никогда не было на земле, о самой глубокой коллизии совести, о решении, принятом против всего, во что до сих пор верили, чего требовали, что считали священным. Я не человек, я динамит»*<sup>2</sup>). В то же время Ницше неоднократно отрицает собственную святость, объявляя, и с гордостью, себя сатиром (*«...я предпочёл бы скорее быть сатиром, чем святым...»*<sup>3</sup>), или шутом: *«Я не хочу быть святым, скорее или шутом... Может быть, я и емь шут...»*<sup>4</sup>

Набоков в *Даре* многократно подчёркивает (даже выделяя курсивом в тексте слово *шутовство*), что

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 59.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Ессе homo*. Там же. Т. 2. С. 762.

<sup>3</sup> Там же. С. 694; Nietzsche F. *Sämtliche Briefe Kritische Studienausgabe, Band 6, Januar 1880–Dezember 1884*, 6 Dezember 1883, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, de Gruyter, 1986, p. 460.

<sup>4</sup> Там же. С. 762.

всё существование Чернышевского является «антипророческим», а потому оно не многолико, не трагично (т. е. даже не двулико), но исключительно однородно. И если для Ницше Сократ – шут и только шут: «*Сократ был шутом, возбудившим серьёзное отношение к себе...*»,<sup>1</sup> то и у ницшеанца Набокова эта однородность русского Сократа есть однородность исключительно шута, буфона. А это опять же показывает (видишь, читательница, какой я настойчивый), что Чернышевский просто не способен к созиданию в себе поэта-пророка: «*...его [Чернышевского. – А. Л.] и не считали солидным человеком, а именно буфоном, и как раз в шутовстве его журнальных приёмов усматривали бесовское проникновение вредоносных идей*».<sup>2</sup> И ещё раз, просто настаивает этот настырный Набоков: «*Чернышевский в своём журнале, под прикрытием кропотливого шутовства, делал бешеную рекламу Фейербаху*».<sup>3</sup> И снова «буфонство» с легким налетом галлицизма, так напоминающим «литературу» с тремя «т» семинариста Надеждина<sup>4</sup>: «*Впоследствии для сведения третьего отделения была тщательно составлена Владиславом Костомаровым вся гамма этого “буфонства”*; работа – подлая, но по существу верно передающая “специальные приёмы Чернышевского”».<sup>5</sup>

И даже один из самых неприятных моментов жизни Чернышевского, его гражданская казнь, не носит в романе Набокова ни малейшего отпечатка трагического: даже сама казнь русского Сократа в *Даре* – и та шутовская: «*На другой день после той шутовской казни, в сумерках, “с кандалами на ногах и думой в голове”, Чернышевский навсегда покинул Петербург*».<sup>6</sup>



Когда же Чернышевский откладывает обгрызанное перо, оставляет свой сократический труд и

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Сумерки идолов*. Там же. Т. 2. С. 565.

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 208.

<sup>3</sup> Там же. С. 237.

<sup>4</sup> Там же. С. 228.

<sup>5</sup> Там же. С. 237.

<sup>6</sup> Там же. С. 254.

занимается своей личной жизнью, то и здесь этот русский Сократ проявляет себя шутом. Именно как шут Чернышевский бьётся за свою невесту: *«И после ещё некоторой возни в том же духе происходит – (Набоков намеренно привлекает к этому внимание) – шутовская дуэль палками»*.<sup>1</sup> А потому настало самое время обратиться к теме, которую храбрый пражский профессор Анучин считал неуместной в книге Чердынцева, а именно – к интимной жизни Чернышевского, ибо в четвёртой главе *Дара* Набоков создаёт персонажа, который во всём, в том числе и в области половых отношений, существует по принципам, противоположным тем, что некогда были высказаны «сексологом» Ницше-Заратустрой.

Но вначале несколько слов о видении этого сюжета Фридрихом Ницше.

Известно, что Заратустра неоднократно говорит о венце: *«этот венец смеющегося, этот венец из роз...»*,<sup>2</sup> – *«Венец из роз!»*! – запомним это. Речь вовсе не идёт о венце терновом, который так спешат водрузить Заратустре на голову овцы учёного мира, объевши сначала другой, но тоже не терновый – венец спящего пророка-вакханта:

*«Пока я спал, овца принялась объедать венок из плюща на моей голове, – и, объедаая, она говорила: “Заратустра не учёный больше”*.

*И, сказав это, она чванливо и гордо отошла в сторону. Ребёнок рассказал мне об этом»*.<sup>3</sup>



Забудем же о муках и страданиях! Навсегда! Ибо у Ницше речь идёт о страсти, об исступлённой пенетрации, о половом слиянии homo sapiens'a и бога трагедии – о всём, что совершается под эгидою розового венца, светящегося в ночи. Того самого, который Дионис подарил на Крите Ариадне,<sup>4</sup> и который украшал чело похищенной с Наксоса Ариадны во время её свадьбы с Дионисом.

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 207.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Т. 2. С. 213.

<sup>3</sup> Там же. С. 90.

<sup>4</sup> Eratosthène, *Constellations*, Paris, 1821, p. 43.



И когда Ницше пророчествовал «О старых и новых скрижалях», танцуя на горе под халкионическим небом Прованса («В следующую затем зиму, под халкионическим небом Ниццы, которое тогда заблестало впервые в моей жизни, нашёл я третью часть Заратустры»<sup>1</sup>), он чувствовал, как свежий средиземноморский ветер (ветер, вдохновлявший тогда же молодого Шарля Морраса, другого европейского пророка) вдувает в его душу неистовую жажду пляски бога Диониса. Фридрих Ницше посвятил поэму этому ветру, она заканчивается такой строфой:

*«Кто еще тебя восславит?  
Так возьми же себе на память  
Тот венок, что сплел я здесь!  
Дальше брось его – ты слышишь? –  
Прямо в небо – выше, выше –  
И к звезде его подвесь!»<sup>2</sup>*

Итак, Ницше-Заратустра по-дружески просит дионисический ветер закинуть этот венец из роз в небеса, к звёздам, т. е. именно туда, куда, согласно Псевдо-Эратосфену, Дионис вознёс розовый венец Ариадны, превратив его в созвездие.<sup>3</sup>

Ницше-пророк, которого сократические овцы называли (да и по сей день продолжают называть) мезогином и девственником, оказывается крупным специалистом в умыкании царских дочерей, Минотавровых сестриц. Более того, ему не понаслышке знаком coitus с божеством и сверхоргазм, недоступный диалектикам-импотентам, убегающим из собственных домов от стервозных своих Ксантип. Венец же, который славит и гордо носит на голове Заратустра – есть (если мне будет позволено парафразировать Еврипида) венец «быкохуева» бога, подчиняющего себе не только фиванских старцев, но и неистовых менад, рвущих в ключья и тигров, и царей.

А потому, согласно Ницше-Заратустре, лишь истинный мужчина способен осчастливить женщину («Ибо только тот, кто достаточно муж-

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Ессе homo*. Там же. Т. 2. С. 748.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *К Мистралю, танцевальная песнь* // Там же. Т. 2. С. 719.

<sup>3</sup> Eratosthène, *Constellations*, Paris, 1821, p. 43.

чина, освободит в женщине женщину»<sup>1</sup>), подчинив её себе: «Счастье мужчины называется: я хочу. Счастье женщины называется: он хочет».<sup>2</sup> И сама женщина признаётся, что жаждет этого подчинения; не случайно умудрённая опытом старуха советует Заратустре не забыть плётку, идя к женщинам: «Ты идёшь к женщинам? Не забудь плётку!»<sup>3</sup>



Набокову несомненно по душе ницшевский образ воина-мужчины, которого притягивает всякая опасность, одной из которых является женщина: «Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры. Поэтому хочет он женщины как самой опасной игрушки».<sup>4</sup> Не потому ли, Набоков не просто несколько раз пишет о шутовской немужественности Чернышевского, но всячески акцентирует внимание читателя на этом.

В свои молодые годы русский Сократ не является тем, кого маркиз де Сад назвал бы «*maitre de son sperme*».<sup>5</sup> Заметим, что наказуемый Богом намеренный отказ от бережного отношения к своему семени («А Онан знал, что не ему будет семя; и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя в землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было перед очами Господа то, что он делал: и умертвил Он и его»<sup>6</sup>) осуждается Розановым (Набоков несомненно думал о Розанове в момент написания *Дара*, ведь критик Фёдора, Мортус Адамович, упоминает о нём: «“Не помню кто – кажется, Розанов, говорит где-то”, – начинал, крадучись, Мортус»<sup>7</sup>) как неумение мужчины управлять своей внутренней энергией, необходимой для полноценного творчества.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 121.

<sup>2</sup> Там же. С. 48.

<sup>3</sup> Там же. С. 48. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>4</sup> Там же. С. 47.

<sup>5</sup> «Господин своей спермы». Marquis de Sade, *La Nouvelle Justine dans Œuvres*, Éditions Gallimard, Paris, 1993, t. 2, p. 890. Перевод автора.

<sup>6</sup> Библия, *Ветхий Завет, Бытие*. Берлин, 1922. С. 39.

<sup>7</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 150. См. также: Долинин А. *Две заметки о «Даре»* // Звезда, 1996, № 11.

<sup>8</sup> Розанов. *Люди лунного света*. М., 1911. С. 74.

Таким образом, следует поставить знак равенства между способностью человека к любви и его созидательной силой. Ницше пишет о воине-созидателе и достойной его спутнице: *«Мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина – для отдохновения от войны; всё остальное – глупость»*.<sup>1</sup>

Юный Чернышевский отличается от ницшеановских героев Набокова. Те сохраняют чистоту в одиночестве ожидания подлинной любви. Таков Лев Ганин<sup>2</sup>: *«А на самом деле я был до смешного чист. И совершенно не страдал от этой чистоты. Гордился ею, как особенной тайной, а выходило, что я очень опытен. Правда, я вовсе не был стыдлив или застенчив. Просто удобно жил в самом себе и ждал»*.<sup>3</sup>

Таков и Фёдор Годунов-Чердынцев: *«За последние десять лет одинокой и сдержанной молодости, [Фёдор Константинович. – А. Л.] жил на скале, где всегда было немножко снега и откуда было далеко спускаться в пивоваренный городок под горой...»*<sup>4</sup>

Чернышевский *Дара* не был способен ни по-мужски сдерживать чувства, ни подчинить себе женщину. Набоков, свысока поглядывая на него, описывает, как будущий вдохновитель социалистов двадцатого столетия выплёскивает на одеяло свою детородную силу, чем и объясняет внимательной читательнице (без гримас, без гримас!) стерильность Чернышевского как сократического учёного и бесплодного рифмача, бесчувственного к ритму поэзии: *«...[Чернышевский. – А. Л.] был, к стати, не-*

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 47.

<sup>2</sup> Герой *Машеньки*, выпив лишнего, раздумывает над Вечным возвращением да над ницшеовско-гераклитовских игральным костях, кидаемых беспечным мальчуганом: *«По какому-то там закону ничего не теряется, материю истребить нельзя, значит, где-то существуют и по сей час щепки от моих рож и спицы от велосипеда. Да вот беда в том, что не соберёшь их опять, – никогда. Я читал о “вечном возвращении”... Я что если этот сложный пасьянс никогда не выйдет во второй раз? Вот... чего-то никак не осмыслю... Да: неужели всё это умрёт со мной? Я сейчас один в чужом городе. Пьян. От коньяка и пива трещит башка»* (Набоков В. *Машенька*. Там же. Т. 1. С. 59).

<sup>3</sup> Там же. С. 64.

<sup>4</sup> Набоков В. *Дар*. С. 148.

*чистоплотен, неряшлив, при этом грубовато возмужал, а тут ещё дурной стол, постоянные колики да неравная борьба с плотью, кончавшаяся тайным компромиссом...»<sup>1</sup>*



При дальнейшем описании судьбы Чернышевского Набоков ни на йоту не отклоняется от намеченного сюжета, а именно – сделать из него добродетельного сократического учёного-антипоэта. Так, русский Сократ не только мастурбирует, но и, согласно Набокову, сообразуясь с духом времени и подчиняясь своей явно немужественной натуре, слишком часто плачет, представляя личностью, неспособной удержать ни сперму, ни мужские слёзы для более редких, а значит, и более ценных излияний: *«Чувствительность молодого Чернышевского – уступка эпохе, когда дружба была великодушна и влажна. Чернышевский плакал охотно и часто».*<sup>2</sup>

Подлинный созидатель исторгает слёзы из недр своего тела. Рыдания творца внезапны и неконтролируемы; они принадлежат не просто мужчине-поэту, но «высшему» существу – остающемуся невидимым для глаза профана корибанту, чья душа в вихре танца не забывает и о плодах долгого аполлонического созерцания. Таков юный ницшеанец Фёдор Годунов-Чердынцев, переживающий «опыт инспирации», уже описанный прежде Фридрихом Ницше: *«Слышишь без поисков; берёшь, не спрашивая, кто даёт; как молния, вспыхивает мысль, с необходимостью, в форме; не допускающей колебаний, – у меня никогда не было выбора. Восторг, огромное напряжение которого разрешается порою в потоках слёз, при котором шаги невольно становятся то бурными, то медленными; частичная невменяемость с предельно ясным сознанием бесчисленного множества тон-*

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 197.

<sup>2</sup> Там же. С. 198.

ких дрожаний до самых пальцев ног; глубина счастья, где самое болезненное и самое жестокое действуют не как противоречие, но как нечто вытекающее из поставленных условий, как необходимая окраска внутри такого избытка света; инстинкт ритмических отношений, охватывающий далёкие пространства форм – продолжительность, потребность в далеко напряжённом ритме есть почти мера для силы вдохновения, своего рода возмещение за его давление и напряжение... Все происходит в высшей степени произвольно, но как бы в потоке чувства свободы, безусловно-сти, силы, божественности...»<sup>1</sup>

Сравни у Набокова: «Волнение, которое меня охватывало, быстро окидывало ледяным плащом, сжимало мне суставы и дёргало за пальцы, лунатическое блуждание мысли, неизвестно как находившей среди тысячи дверей дверь в шумный по-ночному сад, вздувание и сокращение души, то достигавшей размеров звёздного неба, то уменьшавшейся до капельки ртути, какое-то раскрытие каких-то внутренних объятий, классический трепет, бормотание, слёзы – всё это было настоящим».<sup>2</sup>

Из приведённых выше цитат следует, что слёзы Чернышевского – не банальный отсыл к романтической дружбе. Нет! В первую очередь речь идёт о плачущем «сократическом учёном», «александрийском библиотекаре», не знающем, как «выплеснуть» поэтическое творение, да и не способном к этому. Но ницшеановский творец Набоков понимает о чём идёт речь, и он описывает у Чернышевского состояние прямо противоположное своему собственному состоянию во время созидания. Вздурораженный гормонами, по-женски чувствительный, Чернышевский не уродился поэтом, «плохо, не благородно родился», ему не под силу лить слёзы мощным потоком, чтобы выплеснутая в мир энергия разрушала и в то же время порождала сверхтаинственное, не каждому Сокра-

---

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Ессе homo*. Т. 2. С. 747. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 137.

тику понятное творение. Как и подобает учёному, Чернышевский ведёт кропотливый учёт своим слезам: «Чернышевский плакал охотно и часто. “Выкатилось три слезы”, – с характерной точностью заносит он в дневник...»<sup>1</sup>

А когда, вечерами, мысли о социализме и женщине смешиваются («...и сердце как-то чудно билось от первой страницы Мишле, от взглядов Гизо, от теории и языка социалистов, от мысли о Марии Григорьевне, и всё это вместе...»<sup>2</sup>), то Чернышевский, подвывая песню женщины – «песню Маргариты»,<sup>3</sup> – не забывает заметить ещё разок в Дневнике: «...слёзы катились из глаз понемногу».<sup>4</sup>

Итак, даже будучи одиноким холостяком, Чернышевский относится к своим сердечным переживаниям не как неистовый пророк, надевший Дионисов венец, а как сократический учёный, – это же отношение «неуклюжего девственника»<sup>5</sup> появится у него и к объекту ухаживаний, Ольге Сократовне Васильевой. Это подтверждается фактами, которые судьба сортирует в предвидении нужд будущего исследователя, но которые останутся непонятными премудрым пескарям, забывшимся в пыльные щели библиотек, – остроумная судьба выбирает в спутницы русскому Сократу женщину с отчеством Сократовна. И если ранее, Чернышевский подсчитывал в томном одиночестве свои слёзы, то Чернышевский-кавалер вновь занят подсчётами, он не поэт, ибо и здесь, в отличие от поэта Ницше и поэта Набокова, рассудок ни на миг не покидает его – Чернышевский считает расстёгиваемые им пуговицы на мантилье своей невесты: «Его жениховство – с лёгким немецким оттенком, с шиллеровскими песнями, с бухгалтерией ласк: “растёгивал сначала две, после три, пуговицы на её мантилье...”»<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 198.

<sup>2</sup> Там же. С. 201.

<sup>3</sup> Там же. С. 201.

<sup>4</sup> Там же. С. 201.

<sup>5</sup> Там же. С. 205.

<sup>6</sup> Там же. С. 206.

Упомянутый Набоковым «немецкий оттенок» жениховства Чернышевского также не случаен. Я ещё буду вынужден вернуться к «немцам» *Дара*, которые у Набокова, как и у Гоголя, символизируют пошлость *par excellence*.<sup>1</sup> И именно «пошло», «по-немецки», диканьковским чёртом Чернышевский увивается за своей Солохой. Подлинная, лёгкая, поэтическая любовь, как ипостась поэтического творения, ему недоступна. Воспетые Пушкиным «ножки» для русского Сократа – не что иное, как немецкое «füßchen» – символ «онемеченной» любви: «*Пушкина нет в списке книг, доставленных Чернышевским в крепость, да и немудрено: несмотря на заслуги Пушкина (“изобрёл русскую поэзию и приучил общество её читать”), это всё-таки был прежде всего сочинитель остреньких стишков (причём “ножки” в интонации шестидесятых годов – когда вся природа омецинилась, превратившись в “травку” и “пичужек” – уже значило не то, что разумел Пушкин, – а скорее немецкое “фюсхен”)*».<sup>2</sup>

Это также является проявлением «антиницшеанской» сущности Чернышевского, ибо, согласно Ницше, немецкое опошливает все вокруг, делает все грубым и вульгарным. А уж ницшеанец Набоков не мог не смеяться от удовольствия, читая подобные строки своего воспитателя: «*Я не выношу этой расы <...> у которой нет пальцев для **пиансес** – горе мне! я есть **пиансе**, – у которой нет **esprit** в ногах и которая даже не умеет ходить... У немцев, в конце концов вовсе нет ступней, у них только ноги... У немцев отсутствует всякое понятие о том, как они пошлы, но это есть суперлатив пошлости – они не стыдятся даже быть только немцами...*»<sup>3</sup>



Согласно Ницше, мужчине-воину должны быть подвластны и созидание и – клянусь блаженным Петручио! – принадлежащая ему женщина.

<sup>1</sup> См.: Набоков В. *Лекции по Гоголю*.

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 230.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Эссе homo*. Там же. Т. 2. С. 761.

А её счастье, как я уже заметил, определяется Ницше как безусловное подчинение избранному мужчине: *«Счастье мужчины называется: я хочу. Счастье женщины называется: он хочет»*.<sup>1</sup> Что же касается Ольги Сократовны, то, как и следовало ожидать, она не верна ему, равно как и писательское перо Чернышевского. И самое главное: наш учёный знает об этом, выносит подобное унижение, и более того, покорно свыкается с ним: *«...очень мучительны, верно, были ему молодые люди, окружавшие жену и находившиеся с ней в различных стадиях любовной близости, от аза до ижицы»*.<sup>2</sup>

Набоков подчёркивает, что супруга русского Сократа просто издевается над своим демократом-рогоносцем. Как же такому стать творцом: *«...“Канашечка-то знал... Мы с Иваном Фёдоровичем в алькове, а он пишет себе у окна”*». <sup>3</sup> И следуя ницшеанской логике до конца, Набоков подводит итог: Чернышевский не в силах разрешить проблему неверности своей жены, как это некогда сделал сверхпоэт Пушкин: *«Что таить, – брак получился несчастный, трижды несчастный, и даже впоследствии, когда ему и удалось с помощью воспоминания “заморозить своё прошлое до состояния статического счастья” (Страннолюбский), всё равно ещё сказывалась та роковая, смертная тоска, составленная из жалости, ревности и уязвлённого самолюбия, – которую также знал муж совсем другого склада и совсем иначе расправившийся с ней: Пушкин»*.<sup>4</sup>

И даже самый драматический период жизни Чернышевского, после гражданской казни, – явно не «ницшеанский». Опубликовавшего *Что делать?* литератора отправляют в Кадаю. По дороге в ссылку повторяется то же, что произошло и во время путешествия юного Чернышевского в С.-Петербург: уже ставший маститым критиком, «библиографом Александрийской библиотеки»,

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 48.

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 211.

<sup>3</sup> Там же. С. 211.

<sup>4</sup> Там же. С. 211.



Чернышевский *Дара* не изменил своей сущности и, проезжая вблизи тех мест, где впоследствии будет охотиться Константин Годунов-Чердынцев, «слепой» учёный испытывает единственное чувство – скуку из-за отсутствия книг. И Набоков снова подчёркивает в *Даре* этот столь важный для ницшеанца факт: «Он ехал в тарантасе, и так как “читать по дороге книжки” разрешили ему только за Иркутском, то первые полтора месяца пути он очень скучал».<sup>1</sup>

Тема «слепоты» Чернышевского, и в первую очередь его слепоты перед природой, настолько важна для Набокова, что он продолжает настаивать на ней, уже и когда его герой прибыл на место ссылки. Чернышевский, по словам Набокова, «забывал сигарочницу под лиственницей, которую не скоро научился отличать от сосны».<sup>2</sup> Духовная слепота Чернышевского – заразна, она как бы передаётся окружающим его людям. И ницшеанец Набоков не забывает подчеркнуть, что соседом властителя дум социалистов был его «двойник» – полуслепой сероглазый дьячок: «...Чернышевский был выпущен в вольную команду и снял комнату у дьячка, необыкновенно с лица на него похожего: полуслепые серые глаза, жиденькая бородка, длинные спутанные волосы...»<sup>3</sup>

Чернышевский вынужден поселиться вдали от Европы, вблизи китайской границы («...23-го июля его привезли, наконец, на рудники Нерчинского горного округа, в Кадаю: пятнадцать вёрст от Китая, семь тысяч от Петербурга»<sup>4</sup>) то есть в месте, находящемся не так далеко от родины Заратустры и близости от места, где будет разгуливать с сачком для бабочек-душ «доброй европеец» Константин Годунов-Чердынцев *Дара*. Таково решение насмешливой судьбы – сверхевропейская земля становится тюрьмой русского Сократа.

Да и здесь, живя вблизи азиатских лесов, наш «слепец»-диалектик далек от мысли сделать хоть малейшее усилие, чтобы углубиться в чреватую

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 254.

<sup>2</sup> Там же. С. 258.

<sup>3</sup> Там же. С. 255.

<sup>4</sup> Там же. Т. 3. С. 254

опасностями чащу. А потому Чернышевский ходит только по проторенным тропинкам, за грибами; да и с виду напоминает бабу – не может не прибавить ницшеанец Набоков: «...[Чернышевский. – А. Л.] завернув голову полотенцем от комаров, похожий на русскую бабу, со своей плетеной корзиной для грибов гулял по лесным тропинкам, никогда в глушь не углубляясь»<sup>1</sup>.



Жизнь заточённого на Александровском заводе Чернышевского настолько противоречит всему духу написанного Ницше, что Набоков не может не позволить себе упомянуть об ещё одном любопытном факте, а именно – о знаменитом частоколе. Ситуация поистине удручающая: борец за прогресс очутился в месте, которое Ницше назвал бы «сверхевропейским». Кольцо, некогда воспетое Заратустрой, становится тюрьмой русскому Сократу: «Темница была снабжена монгольской особенностью – “палями”: столбами, тесно вкопанными встоячь вокруг тюрьмы; “палисад без сада”, – острил один из ссыльных, бывший офицер Красовский».<sup>2</sup>

Здесь, в тридцати верстах от Кадаи, Чернышевский-мыслитель и вовсе уподобляется Сократу. Набоков пишет: «...Его [Чернышевского. – А. Л.] манера логических рассуждений – “в духе тѣзки его тестя”, как вычурно выражается Страннолюбский».<sup>3</sup>



Жестокость Набокова доходит до того, что он просто издевается над мучениями Чернышевского, и издевается истинно по-ницшеановски, указывая на псевдосходство его с Прометеем, но подчеркивая, что стерильному учёному никогда не подняться до уровня героя Эсхила. Чернышев-

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 258.

<sup>2</sup> Там же. С. 255.

<sup>3</sup> Там же.

ский – явно не титан: «Однажды у него на дворе появился орёл... “прилетевший клевать его печень, – замечает Страннолюбский, – но не признавший в нём Прометея”».<sup>1</sup>

Это немаловажный отсыл Набокова и к предшественнику Фридриха Ницше – к Гераклиту, первому философу вечного возвращения,<sup>2</sup> утверждавшему, помимо прочего, что именно огонь (украденный Прометеем у богов и подаренный им человеку) лежит в основе существования вселенной: «Этот космос, один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно гасящийся».<sup>3</sup>



Как же должен был, согласно Набокову, закончиться жизненный путь сократического учёного?

Слишком давно был изгнан из Европы мужественный трагический дух, потому Чернышевский приближается к смерти и расстаётся с жизнью, почти как Сократ, но как Сократ неудавшийся. Набоков пишет об этом: «Чернышевский, – доносили его тюремщики, – по ночам то поёт, то танцует, то плачет навзрыд»<sup>4</sup>; «...старик пускался в пляс, распевая гекзаметры».<sup>5</sup>

Следовательно, Чернышевский в последние днисылки ведёт себя как Сократ, описанный Платоном в *Федоне*.<sup>6</sup> И Ницше в *Рождении трагедии*, ибо в конце своего заключения афинский мыслитель *прозревает*. Он видит перед собой рубеж, ко-

<sup>1</sup> Там же. С. 259.

<sup>2</sup> «Сомнение оставил во мне Гераклит, вблизи которого я чувствую себя вообще теплее и приятнее, чем где-нибудь в другом месте. <...> Учение о “вечном возвращении”, стало быть, о безусловном и бесконечно повторяющемся круговороте всех вещей, – это учение Заратустры могло бы однажды уже существовать у Гераклита» (Ницше Ф. *Ессе Ното*. Там же. Т. 2. С. 731).

<sup>3</sup> Hermann Diels, Walther Kranz, *Fragmente der Vorsokratiker*, 30 [20], Berlin-West, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, 1951, t. 1, p. 157–158.

<sup>4</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 258.

<sup>5</sup> Там же. С. 261.

<sup>6</sup> Платон. *Федон* / Перевод С. П. Маркиша. М., 1968. Т. 1. С. 16–17.

торый неминуемо станет непреодолимой преградой человеку, вооружённому лишь оптимистической наукой («...и лишь когда дух науки дойдет до своих границ и его признание на универсальное значение будет опровергнуто указанием на личность этих границ, можно будет надеяться на возрождение трагедии; символом такой формы культуры мы могли бы счесть отдавшегося музыке Сократа»<sup>1</sup>), а потому – кается в убийстве трагедии: «отдаётся музыке».<sup>2</sup>

По мнению Ницше всякий «честный» теоретический человек, припёртый к стене, не может не повести себя так же. И не к возрождению ли духа трагедии вкупе с уничтожением оптимистической веры в науку хочет подвести нас философ своим многоточием?: «Или, спрашивая иначе: “зачем вообще познание” – Всякий спросит нас об этом. И мы, припёртые таким образом к стене, мы, дававшие сами себе сотни раз этот вопрос, мы находили и не находим лучшего ответа...»

Сократ умирает в Афинах – городе, где ещё витает тень изгнанной им же трагедии. Этот мощнейший сгусток редчайшей аристократической духовной субстанции сообщает Сократу достаточно сил, чтобы добровольно отказаться продолжать жизнь и *выбрать* смерть.<sup>3</sup> Факт мужества Сократа отмечается и Фридрихом Ницше: «Понял ли он это сам, этот умнейший из всех, перехитривших самих себя? Не сказал ли он это себе под конец мудростью своего мужества перед смертью?...»<sup>4</sup>

А что же Чернышевский? Он волею смилостивившегося монарха освобождается, и предок Владимира Набокова («Опять совпадение!», – воскликнет насыщенный до самых бронхов библиотечной пылью премудрый пескарь) участвует в освобождении русского Сократа, который переводится на жительство в Астрахань: «...министр юс-

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 123.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла*. Там же. Т. 2. С. 352.

<sup>3</sup> Платон. *Критон*. Там же. Т. 1. С. 113–130.

<sup>4</sup> Ницше Ф. *Сумерки идолов*. Там же. Т. 2. С. 567.

тищи Набоков сделал соответствующий доклад, и «Государь соизволил перемещение Чернышевского в Астрахань»<sup>1</sup>. Но этот Чернышевский уже не представляет ни малейшего интереса.

Русский Сократ, избегнув подлинной, а не шутовской казни, в чем был так убеждён невнимательный Линева из Варшавы,<sup>2</sup> оказался недостойным цыкуты, и Набоков так характеризует доживающего свои дни в Астрахани Чернышевского: «...бедный, старый, никому не нужный Николай Гаврилович...»<sup>3</sup>. Неважно, что покинувший ссылку Чернышевский бесцветно просуществовал ещё шесть лет, а афинянин отказался от бегства и выбрал быструю смерть. Он выпил свою цыкуту, но оказал сокрушительное влияние на будущее Афин. Умерший Сократ духовно разложил греческую элиту: «Умирающий Сократ стал новым, никогда дотоле невиданным идеалом для благородного эллинского юношества: впереди всех палниц перед этим образом типичный эллинский эноша – Платон – со всей пламенной преданностью своей мечтательной души»<sup>4</sup>.

Чернышевский, пусть не сразу, лишь по проществу некоторого времени, но неизбежно «прививает плебейство» многим поколениям своих соотечественников. Некоторые аспекты его духовного наследия и будут рассмотрены в следующих главах моей работы.



<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 261.

<sup>2</sup> Там же. С. 270.

<sup>3</sup> Там же. С. 263.

<sup>4</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии*. Там же. Т. 1. С. 109.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



ПРЕДШЕСТВЕННИКИ  
И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ  
АНТИНИЦШЕАНСКОГО  
ГЕРОЯ НАБОВОВА

«И я презираю социалистическую  
идею, как идею низкого  
равенства...»

Владимир Набоков  
«Юбилей»







## ГЛАВА ПЕРВАЯ

# ТЕОРЕТИКИ И ПРАКТИКИ СОКРАТИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ

*Кого более всего я ненавижу  
между теперешней сволочью?  
Сволочь социалистическую,  
апостолов чандалы...*

**Фридрих Ницше. Антихристианин**

В *Рождении трагедии* Ницше изобретает термин, который я уже использовал в предыдущей части, – «теоретический человек».<sup>1</sup> Речь идёт об индивидууме-оптимисте, уверенном, «*что мышление, руководимое законом причинности, может проникнуть в глубочайшие бездны бытия и что это мышление не только может познать бытие, но даже и исправить его*».<sup>2</sup>

Подобное оптимистическое, плебейское *par excellence*, мировоззрение не могло не претить Фридриху Ницше, ведь в желании «теоретического человека» исправить бытие (конечно же, улучшив его) кроется отказ от Прометеевой работы *над* человеком, а следовательно, и отказ от мечты Заратустры о *сверхчеловеке*. «Человек изначально хорош», – думает «теоретический человек» и моргает, как «последний человек» из предисловия к *Заратустре*. «Будем же бороться за то, чтобы ему жилось полегче. Да здравствует революция!» – хрипят уже многие тысячи глоток его мстительных потомков и с энтузиазмом принимаются разматывать километры гулаговской «колючки».

---

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 113.

<sup>2</sup> Там же. С. 114.



Кто же, по мнению Ницше, был первым подобным «теоретическим оптимистом», противоположностью практического, объективного человека, а потому пессимиста? Этим первым «теоретическим человеком» был сам Сократ, таков ответ Ницше: «...Сократ является первообразом теоретического оптимиста, который, опираясь на упомянутую выше веру в познаваемость природы вещей, приписывает знанию и познанию силу универсального лечебного средства, а в заблуждении видит зло как таковое».<sup>1</sup>

Дав ещё одну характеристику автору изречения «лишь знающий добродетелен», Ницше бросает взгляд вокруг себя и замечает Лессинга, другого «теоретического» человека, представителя своей собственной, немецкой культуры, достойного быть названным немецким последователем Сократа: «Поэтому Лессинг, честнейший из теоретических людей, и решился сказать, что его более занимает искание истины, чем она сама, и тем, к величайшему изумлению и даже гневу научных людей, выдал основную тайну науки».<sup>2</sup>

Констатируя факт принадлежности Лессинга к презируемой касте оптимистов, Ницше вместе с тем воздаёт ему должное: «Лессинг – честнейший из теоретических людей...»<sup>3</sup> Более того, несколькими страницами раньше тот же Лессинг сравнивается им с Еврипидом: «О [Еврипиде. – А. Л.] можно было бы сказать, как и о Лессинге, что необычайная полнота его критического таланта если не вызывала, то по крайней мере постоянно оплодотворяла некоторое побочное продуктивно-художественное стремление».<sup>4</sup>

Это сближение образов Лессинга и Еврипида чрезвычайно важно, ведь именно Еврипид, уничтоживший греческую трагедию («...Еврипид боролся с эсхиловской трагедией и победил её»<sup>5</sup>), – Еври-

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 115.

<sup>2</sup> Там же. С. 114.

<sup>3</sup> Там же. С. 114.

<sup>4</sup> Там же. С. 100.

<sup>5</sup> Там же. С. 102.

пид, покинувший Диониса («...так как ты [кощунствующий Еврипид. – А. Л.] покинул Диониса, то и Аполлон покинул тебя...»<sup>1</sup>). Именно Еврипид сценаризирует идеи Сократа, а потому является, по выражению Ницше, «маской» афинского мыслителя.<sup>2</sup>

Подведём небольшой итог. Итак, Ницше сравнивает Лессинга с Сократом и с его «маской», Еврипидом, и в то же время говорит о нём как о «честнейшем из теоретических людей».

Вспомним теперь о признании Фридриха Ницше, что всю жизнь его правилом было лишь выбирать врагов, достойных себя: *«Равенство перед врагом есть первое условие честной дуэли. Где презирают, там нельзя вести войну...»*<sup>3</sup>

Подобным, т. е. достойным недругом и является Сократ, который не только показал себя храбрым воином, спасшим жизнь Ксенофону в битве против персов,<sup>4</sup> но и, как я уже отметил выше, имел мужество отказаться от предлагаемого Критоном бегства и добровольно пойти на смерть за свои убеждения. Ницше пишет: *«Умирающий Сократ. Я восхищаюсь храбростью и мудростью Сократа во всём, что он делал, говорил – и не говорил. Этот насмешливый и влюблённый афинский урод и крысолов, заставляющий трепетать и заливатьсь слезами заносчивых юношей, был не только мудрейшим болтуном из когда-либо живших: он был столь же велик в молчании.»*<sup>5</sup>

Двенадцать лет спустя Ницше отдаёт должное Лессингу. И это не простая похвала. Нет! Философ сравнивает Лессинга с самим собой – а уж у Ниц-

---

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. С. 96.

<sup>2</sup> *«И Еврипид был в известном смысле только маской: божество, говорившее его устами, было не Дионисом, не Аполлоном также, но неким во всех отношениях новорождённым демоном: имя ему было – Сократ»* (Там же. С. 102. Курсив Фридриха Ницше).

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Эссе ното*. Там же. Т. 2. С. 705. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>4</sup> *«...так было под Потидеей, под Амфиполем и под Делием, – и после того как я подобно любому другому оставался в строю, куда меня поставили, и подвергался смертельной опасности...»* (Платон. *Апология Сократа*. Там же. Т. 1. С. 97).

<sup>5</sup> Ницше Ф. *Весёлая наука*. Там же. Т. 1. С. 659.

ше это что-нибудь да значит: «*Лессинг тоже любил в темпе вольность, бегство из Германии*»,<sup>1</sup> – речь идёт о том самом стремлении убежать из Германии, в котором немецкий философ сам признавался столько раз в *Ессе ното*: «*Предположим, я выхожу из своего дома и нахожу перед собою вместо спокойного аристократического Турина немецкий городишко: мой инстинкт должен был насторожиться, чтобы отстранить все, что хлынуло бы на него из этого плоского и трусливого мира. Или мне предстал бы немецкий город, этот застроенный порок, где ничего не произрастает, куда все, хорошее и дурное, втаскивается извне*».<sup>2</sup> Но вместе с тем Ницше далёк от того, чтобы поставить Лессинга на один уровень с самим собой. Поэтому, воздав должное Лессингу, указывает тотчас же на границу, через которую «теоретический человек» Лессинг просто не способен перейти: «*Но как смог бы немецкий язык, хотя бы даже в прозе какого-нибудь Лессинга, перенять темп Макиавелли, который в своём Principe заставляет дышать сухим, чистым воздухом Флоренции и который принуждён излагать серьёзнейшие вещи в неукротимом *allegriissimo* – быть может, не без злобного артистического чувства того контраста, на который он отваживается: длинные, тяжёлые, суровые, опасные мысли – и темп галоп и самого развесёлого настроения*».<sup>3</sup>

Итак, хоть Лессинг и рвётся из Германии, он недостоин достичь духовного Средиземноморья – облюбованной Фридрихом Ницше страны «великого здоровья», о которой я уже писал в начале моей работы.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла*. Там же. Т. 2. С. 264.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Ессе ното*. Там же. Т. 2. С. 717–718.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла*. Там же. Т. 2. С. 264.

<sup>4</sup> «*Великое здоровье. Мы, новые, безмянные, труднодступные, мы, недоноски ещё не проявленного будущего, – нам для новой цели потребно и новое средство, именно новое здоровье, более крепкое, более умудрённое, более цепкое, более отважное, более весёлое, чем все бывшие до сих пор здоровья. Тот, чья душа жаждет пережить во всем объёме прежние ценности и устремления и обогнуть все берега этого идеального "средиземноморья", кто ищет из приключений сокровеннейшего опыта узнать, каково на душе у завоевателя и пер-*

Ницшеанец Набоков должен был изрядно потрудиться или даже пострадать для создания *Дара* – войти в контакт с «нездоровьем», посвятить немало своего времени изучению биографии и творчества Чернышевского. Как же он мог пройти мимо высказываний русского шестидесятника, в которых тот сам заявляет о своей духовной близости с «честнейшим теоретическим человеком» Лессингом. Таким образом, в цепи «теоретических людей», названных Ницше – Сократ, Еврипид, Лессинг, – появляется ещё одно звено – Чернышевский: *«Как и Лессинг, он по привычке всегда начинал с частного случая развития общих мыслей. Помня, что у Лессинга жена умерла от родов, он боялся за Ольгу Сократовну, о первой беременности которой писал отцу по-латыни, точно так же, как Лессинг, сто лет перед тем, писал по-латыни и своему батюшке»*.<sup>1</sup>



Великолепный соглядатай, примечающий все улики, оставляемые нерасторопной Немесидой, Набоков-пушкинист не мог не отметить того факта, что и сам он родился ровно через сто лет<sup>2</sup> после Пушкина, за которым даже его враги признавали особое достоинство: *«изобрёл русскую поэзию и приучил общество её читать...»*<sup>3</sup> Поэтому Набоков не мог не указать в *Даре* на то, что «антипоэт» Чернышевский связан теми же временными узами с антиподом Лессингом: *«Ещё в начале журнального поприща он писал о Лессинге, который родился ровно за сто лет до него и сходство с которым он сам признавал...»*<sup>4</sup>

*вопроходца идеала, равным образом у художника, у святого, у законодателя, у мудреца, у учёного, у благочестивого, у предсказателя, у пустынножителя старого стиля, – тот прежде всего нуждается для этого в великом здоровье – в таком, которое не только имеют, но и постоянно приобретают и должны приобретать, ибо им вечно поступаются, должны поступаться!»* (Ницше Ф. *Весёлая наука*. Там же. Т. 1. С. 707).

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 210.

<sup>2</sup> Набоков родился в 1899 году, то есть ровно через век после Пушкина.

<sup>3</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 230.

<sup>4</sup> Там же. С. 210.

Несомненно, что эта связь и сходство Чернышевского с Лессингом побуждают русского Сократа Дара замечать, например, что энциклопедическая статья о его предшественнике непочтительно коротка: *«Критикуя на страницах “Отечественных Записок” (54 год) какой-то справочный словарь, он [Чернышевский. – А. Л.] приводит список статей, по его мнению, слишком длинных: Лабиринт, Лавр, Ланкло, – и список статей, слишком кратких: Лаборатория, Лафайет, Лен, Лессинг»*.<sup>1</sup>

Ницше признает личное мужество своего врага, Сократа, он и Лессинга называет честнейшим из наследников афинского мыслителя. И ницшеанец Набоков в свою очередь не хочет противников, недостойных себя, и неоднократно отдаёт должное независимости русского Сократа в ссылке: *«...никогда власти не дождалась от него тех смиренно-просительных посланий, которые, например, унтер-офицер Достоевский обращал из Семипалатинска к сильным мира сего»*,<sup>2</sup> а ниже ещё раз – и нельзя не улыбнуться, вспомнив о ставшей традиционной нелюбви набоковедов к специалистам по Достоевскому и vice versa: *«Ещё через год, в мае, было подано от имени его сыновей (он, конечно, об этом ничего не знал) прошение, в самом что ни на есть пышном душещипательном стиле...»*<sup>3</sup>



Покончив в *Человеческом*, слишком человеческом с анализом духовного наследства Лессинга, Ницше переходит к Вольтеру, последнему эллинскому таланту, которого он, несомненно, считает противоположностью любого теоретического человека, пусть и честнейшего: *«[Вольтер. – А. Л.] был также последним великим писателем, который в отношении прозаической речи имел греческое ухо, греческую художественную добросовестность, греческую безыскусственность и наивную прелесть...»*<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. С. 214.

<sup>2</sup> Там же. С. 260.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Ницше Ф. *Человеческое, слишком человеческое*. Там же. Т. 1. С. 354.

Позднее, в *Ессе homo* Ницше напишет о Вольтере как о «*grandseigneur духа*»,<sup>1</sup> а вспоминая о работе над *Человеческим, слишком человеческим*, он гордится тем, что этот труд был опубликован, ровно через сто лет после смерти французского мыслителя, что немаловажно и для Набокова: «*В этом сочинении есть тот смысл, что именно столетие дня смерти Вольтера как бы извиняет издание книги в 1878 году. <...> Имя Вольтера на моём сочинении – это был действительно шаг вперёд – ко мне...*»<sup>2</sup>

Набоков знал о месте, занимаемом Вольтером (этим антагонистом Сократа–Лессинга) в пантеоне философов, сооружённом Фридрихом Ницше, а потому, анализируя в *Даре* мировоззрение Чернышевского, он с иронией высказывается о нем, как о мыслителе, который только с первого взгляда напоминает Вольтера: «*Истинный энциклопедист, своего рода Вольтер, с ударением, правда, на первом слоге, он исписал, не скупясь, тьму страниц...*»<sup>3</sup>



Постоянно обращаясь к трудам Лессинга и Вольтера, любитель контрастов Ницше не забывает и другого своего противника – «*первого современного человека, идеалиста и sapaille*»<sup>4</sup> – Жана-Жака Руссо: «*Сами французы сразу после Вольтера лишились всяких талантов, которые могли бы продолжить развитие трагедии от дисциплины до указанной иллюзии свободы; они позднее по первому немецкому примеру тоже сделали прыжок в своего рода первобытное состояние искусства, в духе Руссо, и начали экспериментировать*».<sup>4</sup>

Экспериментаторство делает из Руссо ещё одну ипостась Сократа, а значит и Лессинга, ведь в качестве наследника двух первых теоретических людей – Сократа и Еврипида – именно Лессинг,

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Ессе homo*. Там же. Т. 2. С. 736.

<sup>2</sup> Там же. Т. 2. С. 736.

<sup>3</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 210.

<sup>4</sup> Ницше Ф. *Сумерки идолов, или Как философствуют молотом*. Там же. Т. 2. С. 622.

выдаёт наиглавнейшую, по словам Ницше, примету сократической науки: бесцельные блуждания якобы в поисках истины, без какого-либо желания найти её.<sup>1</sup> Что же касается Руссо, то этот *sa-paille*, этот французский наследник Сократа, только и способен, что породить дух ненавистных Фридриху Ницше сократических преобразований, почему-то названных современниками революциями: «*Неумеренная натура Вольтера, склонная к упорядочению, устройению, реформе, и страстные безумия и полуобманы Руссо пробудили оптимистический дух революции, против которого я восклицаю: "écrasez l'infâme!"*»<sup>2</sup>

Ницшеанец Набоков также не может пройти мимо этого образа, подаренного ему Фридрихом Ницше. Не случайно герольд русской революции Чернышевский сравнивается в *Даре* с Руссо. Набоков делает это с известной долей присущего ему сарказма: «...он [Чернышевский. – А. Л.] радуется, когда, трижды целуя во сне гантированную ручку "весьма светлорусой" дамы (матери подразумеваемого ученика, во сне приютившей его, т. е. нечто во вкусе Жана-Жака)...»<sup>3</sup>



От Руссо как идейного предшественника Чернышевского Набоков переходит к последователям русского Сократа, реализовавшим доктрину своего учителя. Речь пойдёт о Ленине и Сталине.

О том, что Ленин был духовным преемником Чернышевского Набоков открыто заявляет в *Даре*: «Как-то Крупская обернулась на ветру к Луначарскому, с мягкой грустью сказала ему: "Вряд ли Владимир Ильич так любил... Я думаю, что между ним и Чернышевским было очень мно-

<sup>1</sup> «Поэтому Лессинг, честнейший из теоретических людей, и решился сказать, что его более занимает искание истины, чем она сама, и тем, к величайшему изумлению и даже гневу научных людей, выдал основную тайну науки» (Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 114).

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Человеческое, слишком человеческое*. Там же. Т. 1. С. 440.

<sup>3</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 204.

го общего". "Да, несомненно было общее", – добавляет Луначарский, сначала было отнёсшийся к этому замечанию скептически». <sup>1</sup>

Достаточно серьезно занимаясь изучением эпохи Чернышевского, то есть двумя десятками лет в каждую сторону от него («По мере изучения предмета он [Фёдор Константинович. – А. Л.] убеждался, что для полного насыщения им необходимо поле деятельности расширить на два десятилетия в каждую сторону» <sup>2</sup>), герой Набокова находит, что знаменитый шестидесятник жил в окружении людей, пишущих отвратительнейшим слогом. Таковы Белинский, Михайловский, Стеклов, Помятовский и проч. <sup>3</sup> Что же касается самого автора «Что делать?», то он просто гордится своим дурным слогом («Я знаменит в русской литературе небрежностью слога... Когда я хочу, я умею писать и всякими хорошими сортами слога», <sup>4</sup> – высказывается стилист-Чернышевский...) и впоследствии, по мнению Набокова, завещает худшие «сорта» слога товарищу Ленину: «Отсюда [от мерзейшего стиля русского Сократа и его и Сократиков. – А. Л.] был прямой переход <...> к слогу Ленина, употреблявшему слова "сей субъект" отнюдь не в юридическом смысле, а "сей джентльмен" отнюдь не применительно к англичанину и достигший в полемическом пылу высшего предела смешного: "...здесь нет фигового листочка... и идеалист прямо протягивает руку агностику»». <sup>5</sup>

«И вы говорите мне, друзья, что о вкусах и привкусах не спорят? Но ведь вся жизнь есть спор о вкусах и привкусах!», <sup>6</sup> – напишет Ницше, по-феликсовски, наперекор пословицам, в рифмочку призывающим к равенству в безвкусице. И ницшеанец Набоков не может не отметить мещанский вкус русского Сократа: «...Чернышевский <...> подобно большинству революционеров был совершенный буржуа в своих художественных и научных вкусах». <sup>7</sup>

<sup>1</sup> Набоков В. Дар. С. 220–221.

<sup>2</sup> Там же. С. 180.

<sup>3</sup> Там же. С. 180–181.

<sup>4</sup> Там же. С. 260.

<sup>5</sup> Там же. С. 181.

<sup>6</sup> Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Там же. Т. 2. С. 84.

<sup>7</sup> Набоков В. Дар. С. 215.



Это меткое замечание Набокова отсылает к его же высказыванию из того же *Дара* десятью страницами ниже о дурном вкусе Ленина. Отсутствие воспитанного вкуса у Ленина лишь подчеркивает, для Набокова его преимущество Чернышевскому: «У Ленина Травиата исторгала рыдания; так и Чернышевский признавался, что поэзия сердца всё же милее ему поэзии мысли, и обливался слезами над иными стихами Некрасова (даже ямбами!), высказывающими всё, что он сам испытал, все терзания его молодости, все фазы его любви к жене».<sup>1</sup> Упомянутая выше Травиата является в творчестве Набокова символом пошлости и мещанства, а следовательно, характеристик, которыми писатель снабжает созданное Лениным послереволюционное общество: «И мне невыносим тот приторный привкус мещанства, который я чувствую во всём большевистском. Мещанской скукой веет от серых страниц “Правды”, мещанской злобой звучит политический выкрик большевика, мещанской дурью набухла бедная его голлушка».<sup>2</sup>

Единственное музыкальное произведение, которое по душе Лужину-старшему (бездарному, «второсортному» писателю, что подчёркивает сам Набоков в *Защите Лужина* устами ребёнка: «Кребс сказал скороговоркой: “Мой папа говорит, что писатель очень второго сорта”»<sup>3</sup>) – Травиата: «Сам он [Лужин старший. – А. Л.] в музыке разбирался мало, питал тайную, постыдную страсть к Травиате, на концертах слушал рояль только в начале, а затем глядел, уже не слушая, на руки пианиста, отражавшиеся в чёрном лаке».<sup>4</sup>

Сталин тоже появляется в *Даре*, отсылая в нужный момент к одному из важнейших ницшевских образов и в то же время травестируя его. Набоков пародийно соединяет на страницах *Дара* две противоположности: лидер ВКП(б) и персидский миниатюрист, земляк Заратустры: «Вы рассматривали персидские миниатюры. Не заметили ли

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. С. 226.

<sup>2</sup> Набоков В. *Юбилей*. Собр. соч. русского периода в 5 тт. 1999. СПб. Т. 2. С. 646.

<sup>3</sup> Набоков В. *Защита Лужина*. Т. 2. С. 13.

<sup>4</sup> Там же. С. 19.

вы там одной – разительное сходство! – из лекции петербургской публичной библиотеки – её писал, кажется, Riza Abbasi, лет триста тому назад: на коленях, в борьбе с драконятами, носатый, усатый... Сталин»<sup>1</sup>.

Перед внимательным читателем Дара мелькает ещё одна тень Сталина. Вспомним, что в 1936 году, то есть через два года после написания четвёртой главы Дара и за три года до публикации романа, в самый разгар работы над книгой, Набоков печатает *Истребление тиранов*,<sup>2</sup> литературный призыв к уничтожению советского диктатора. Из рассказа мы узнаём, что любимым овощем тирана утопической державы, истинное название которой читателю не сложно распознать, была прежде всего репа: «Из дикоцветущего моего государства он сделал обширный огород, в котором особой заботой окружены репа, капуста да свёкла; посею все страсти страны свелось к страсти овощной, земляной, толстой».<sup>3</sup> Поэтому старушка вдова, сумевшая вырастить чудо-репу, достаивается личной встречи с диктатором: «Некто мне рассказывал, запершись со мной в погреб, про свою дальнюю родственницу старуху-вдову, которая вырастила двухпудовую репу и посею удостоилась высочайшего приёма».<sup>4</sup>

Описанная в *Истреблении тиранов* сцена весьма важна, особенно если вспомнить, каким образом русский Сократ начал своё поприще критика: в Даре мать Николая Гавриловича привозит его в Петербург, устраивает его там, попресмыкавшись как следует перед профессурой (да здравствует наука!), и уезжает из города, увозя с собой в качестве столичного сувенира... исполинскую репу.

Уродливый, созревающий под землей овощ, обожаемый социалистическим тираном, препод-

<sup>1</sup> Набоков В. Дар. С. 65.

<sup>2</sup> Рассказ *Истребление тиранов* был опубликован в Берлине в 1936 году, то есть за пару лет до публикации Дара в Париже. Что же касается четвёртой главы Дара, то она была написана Набоковым параллельно написанию *Приглашения на казнь*. См.: Boyd B., Nabokov V. The Russian years, London, Chatto and Windus, 1990, p. 416–417.

<sup>3</sup> Набоков В. *Истребление тиранов*. Т. 4. С. 387.

<sup>4</sup> Там же. С. 393.

носится ему старушкой, чей образ заставляет вспомнить о матери Чернышевского, описанной в *Даре*: «Мать ходила на поклон к профессорам, дабы их задобрить: её голос приобретал льстивые переливы, и постепенно она начинала сморкаться. <...> На дороге оне [мать Чернышевского. – А. Л.] купили себе огромную репу».<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. С. 196.



## ГЛАВА ВТОРАЯ

### ГРОТЕСК НАБОКОВА

*Я хожу среди людей, как среди  
обломков будущего, – того буду-  
щего, что вижу я.*

**Фридрих Ницше.** *Так говорил Заратустра*

Ницшевский творец должен быть натурой цельной, здоровой и «прямоугольной», как сказал бы спортивный врач Заратустра вслед за Аристотелем:

*«Слушайте, братья мои, голоса здорового тела: это – более правдивый и чистый голос.*

*Более правдиво и чище говорит здоровое тело, совершенное и прямоугольное; и оно говорит о смысле земли».<sup>1</sup>*

И верно, согласно греческому идеалу, «добрый» человек καλὸς κ'αγαθὸς – хорош и красив. У Гомера боги, благодаря которым человек располагает σωφροσύνη – этой «морской тишью души»,<sup>2</sup> – даруют доброму человеку и физическую красоту. Не потому ли этот «прямоугольный» гомеровский герой, аристократ, по мере того как он «пожирает» пространство и «впитывает» мудрость, становится всё совершеннее физически и всё более и более красивым.<sup>3</sup>

Автор *Илиады* – этот «воспитатель человечества» – сам явно не сторонник равенства; для него человек изначально не хорош, а потому, в споре между Сократом и Ницше, Гомер несомненно подержал бы профессора классической филологии.

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 24.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 115.

<sup>3</sup> Гомер. *Одиссея*, VI, vv. 229–235, VIII, vv. 16–20, XVI, vv. 172–177 / Перевод с древнегреческого Н. Гнедича. М., 1984. С. 83, 96, 200.



человека раскромсанным и разбросанным, как будто на поле кровопролитного боя и бойни.

*И если переносится мой взор от настоящего к прошлому, всюду находит он то же самое: обломки, отдельные части человека и ужасные случайности – и ни одного человека».*<sup>1</sup>

И когда пророк однажды встречается калек и вступает с ними в беседу, то он прямо заявляет им о множестве населяющих землю уродов:

*«...с тех пор как я живу среди людей <...> вижу я: “одному недостаёт глаза, другому – уха, третьему – ноги; но есть и такие, что утратили язык, или нос, или голову”».*<sup>2</sup>

Главнейшую печать уродства, по мнению Заратустры, несут на себе другие, он называет их «калеками наизнанку»:

*«Я вижу и видел худшее и много столь отвратительного, что не обо всём хотелось бы говорить, а об ином хотелось бы даже умолчать: например, о людях, которым недостаёт всего, кроме избытка их, – людях, которые не что иное, как один большой глаз, или один большой рот, или одно большое брюхо, или вообще одно что-нибудь большое, – калеками наизнанку называю я их».*<sup>3</sup>

А ниже Ницше более подробно объясняет, что означает это уродство наизнанку:

*«И когда шёл из своего уединения и впервые проходил по мосту, я не верил своим глазам, не престанно смотрел и наконец сказал: “Это – ухо! Ухо величиной с человека!” Я посмотрел ещё пристальнее: и действительно, за ухом двигалось ещё нечто, до жалости маленькое, убогое и слабое. И поистине, чудовищное ухо сидело на маленьком, тонком стебле – и этим стеблем был человек! Вооружась лупой, можно было даже разглядеть маленькое завистливое личико, а также отёчную душонку, которая качалась на стебле этом. Народ же говорил мне, что большое ухо не только человек, но даже великий человек, гений. Но никогда не верил я народу, когда говорил он о*

<sup>1</sup> Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Там же. Т. 2. С. 100.

<sup>2</sup> Там же. С. 99.

<sup>3</sup> Там же. С. 99–100.

*великих людях, и я остался при убеждении, что это – калека наизнанку, у которого всего слишком мало и только одного чего-нибудь слишком много»*.<sup>1</sup>

Как же после всего этого? ницшеанец Набоков смог бы пройти мимо фигуры горбуна, предводителя калек, изображённого Фридрихом Ницше: *«Однажды, когда Заратустра проходил по большому мосту, окружили его калеки и нищие, и один горбатый так говорил ему: ...»*<sup>2</sup>

И верно! Из кого же, как не из последователей уродливого Сократа, Набоков может смастерить целый балаган уродливейших марионеток. Посмотрим же, читательница, как он подходит к своей работе.

Помимо того что Чернышевский окружён соратниками, принимающими горячее участие в его «сократической» борьбе, у него есть также и последователи – последователи не только в политике, но и в области науки. Ведь когда сократический учёный, заполненный по самые ноздри вековой пылью александрийской библиотеки, принимается анализировать творчество и биографию поэта, то его поступки носят столь же разрушительный характер, как и действия любого другого духовного наследника Сократа, ведущего за собой буйную толпу хромоногих и горбатых Терситов на приступ Бастилии или Зимнего.

Роль такого ученого последователя Сократа в *Даре* играет Щёголев – персонаж, который получает свою фамилию от русского, а впоследствии советского, пушкиниста Павла Елисеевича Щёголева.<sup>3</sup> Именно Щёголев и превращается Набоковым в того самого горбуна, предводителя калек, из *Заратустры*: *«Фёдор Константинович помог ему [Щёголеву. – А. Л.] (тот с вежливым восклицанием, ещё половинчатый, шарахнулся и вдруг, в углу, превратился в страшного горбуна) ...»*<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 100.

<sup>2</sup> Там же. С. 99.

<sup>3</sup> Павел Елисеевич Щёголев: 5 (17) апреля 1877 Верхняя Катуковка – 22 января 1931 Ленинград. *Большая Советская Энциклопедия*, М., 1978. Т. 29. С. 536.

<sup>4</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 321.

Набоковский Терсит двадцатого века – не может не быть противником Агамемнона аристократа *par excellence*, воспетого Гомером. Вспомним, что Щёголев женится на Марианне Николаевне после смерти Оскара Мерца. Об этом мы узнаём в романе, когда герой Дара переезжает на новую квартиру, которая находится на улице, носящей имя царя Микен – Агамемнона – предводителя ахейского войска: «Теперь так: живут они на Агамемнонштрассе 15, чудный район, квартира малюсенькая, но хох-модерн, центральное отопление, ванна – одним словом, все-все-все».<sup>1</sup>

У такого писателя, как Набокова, конечно же, ни одна из деталей не является лишённой смысла, например еврейское происхождение отца Зины, Оскара Мерца: «“Моя супруга-подруга, рассказывал он [Щёголев. – А. Л.] в другой раз, – лет двадцать прожила с иудеем и обросла целым кагалом”».<sup>2</sup> Эта деталь романа также отсылает к Гомеру, а именно к версии о семитском, финикийском происхождении *Илиады* и *Одиссеи*, которую, несомненно, разделял и любимый Набоковым Джеймс Джойс, вводя на страницы своего *Улисса* еврея Блума.<sup>3</sup> Напомню также, что, будучи университетским профессором, Набоков преподавал *Улисса* Джойса своим студентам.<sup>4</sup> А ежели «разумный» учёный не согласится со мной и Набоковым, да примется упираться всеми своими четырьмя иссохшими членами и крепкой, посыпан-

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. С. 128.

<sup>2</sup> Там же. С. 168.

<sup>3</sup> «Леопольд Блум, “несовершенный” еврей, если можно так сказать. Ведь его мать была лишь наполювину еврейкой, да и сам он был крещён. В то же время для всех дублинских горожан он был настоящим евреем. Переезды его семьи собственные “длинные” прогулки 16-го июня 1904 года делают из Блума гомеровского персонажа. Сейчас известно, что Джойс смог предчувствовать неизвестную ему в то время гипотезу Виктора Берара относительно семитского, точнее, финикийского происхождения гомеровской *Одиссеи*». Jacques Aubert, *Introduction in James Joyce, Œuvres, Paris, Éditions Gallimard, Traduit par Auguste Morel, 1995, t. II, p. XXXV*. Перевод автора. См. также Victor Bérard, *Les Phéniciens et l’Odyssée, Paris, Armand Colin, 2 vol. 1902–1093*.

<sup>4</sup> Bowers F. *Avant-propos in Vladimir Nabokov, Littératures I, Paris, Fayard, Traduit par Hélène Pasquier, 1980, p. 8; Vladimir Nabokov, Littératures I, Paris, Fayard, Traduit par Hélène Pasquier, 1980, p. 383–389*.



ной перхотью кеглей-головой, то дабы окончательно подчеркнуть связь Мерца с *Илиадой* и *Одиссеей*, Набоков пишет чёрным по белому о редком даре отца Зины: «*Она рассказывала о <...> том, как в юности он [Оскар Мерц. – А. Л.] однажды разгромил заезжего грессмейстера, или о том, как читал наизусть Гомера...*»<sup>1</sup> Ипостась гомеровского героя превращается Набоковым в аэда, распе-вающего песни Гомера будущей невесте нищиеановского героя. И в этом Набоков продолжает традицию эллинистического романа, ведь у другого автора сам Улисс стал адвокатом своего Гомера, когда мерзкий Терсит подал на поэта в суд.<sup>2</sup>

Сравним же некоторые эпизоды жизни Агамемнона и Щёголева, чтобы показать ту отвратительную роль, которую Набоков предназначил последнему.

Царь Микен Агамемнон влюбляется в Клитемнестру и женится на ней, силой увозя её из дома.<sup>3</sup> Из *Одиссеи* мы узнаём, что позднее, вернувшись из Трои, Агамемнон становится жертвой предательства жены и ненавидимого им Эгиста:

*Я ж согласился б скорее и бедствия встретить,  
чтоб только  
Сладостный день возвращенья увидеть,  
чем, бедствий избегнув,  
В дом возвратиться, чтоб пасть  
пред своим очагом, как великий  
Пал Агамемнон предательством  
хитрой жены и Эгиста.*<sup>4</sup>

В *Даре* Оскар Мерц буквально копирует судьбу эпического героя: действительно, в молодости Марианна Николаевна убегает от родителей с Мерцем: «*...шутка ли сказать, – мать фрейлина, сама смолянка, а вот вышла замуж за жида, – до сих пор не может объяснить, как это случилось: богат был, говорит, а я глупа, познакомились в Ницце, бежала с ним в Рим, – знаете, на вольном-то воздухе всё казалось иначе, ну а когда потом*

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 168.

<sup>2</sup> Лукиан. *Правдивые истории*, III, vv. 232–235.

<sup>3</sup> Euripide, *Iphigénie*, A, 1148–1156.

<sup>4</sup> Гомер. *Одиссея*, III, vv. 232–235 / Перевод с древнегреческого Н. Гнедича, 1984. С. 40.

попала в семейную обстановочку, поняла, что влипла».<sup>1</sup>

Более того, дальнейшее описание Набокова даёт мне возможность заключить, что Оскар Мерц, как и Агамемнон, гибнет из-за предательства своей жены. Вот как это происходит. Вспомним описание внешности Марианны Николаевны, которая также лишается Набоковым человеческих черт, превращаясь в жабу: «Когда же симпатяга отсутствовал, то запросто появлялся в доме тощий балтийский барон, с которым Марианна Николаевна ему изменяла, – и Фёдор Константинович, раза два барона видевший, с гадливым интересом старался себе представить, что могут друг в друге найти, и, если находят, то какова процедура, эта пожилая рыхлая, с жабым лицом, женщина и этот немолодой, с гнилыми зубами скелет».<sup>2</sup>

А ниже Набоков пишет, что именно жаба, хоть и «грудная» (недаром именно здесь, энтомолог Набоков, любивший пощеголять точнейшим названием каждой бабочки, избегает научного названия болезни Мерца), убивает Зининого отца:

*«Отец Зины, Оскар Григорьевич Мерц, умер от грудной жабы в Берлине четыре года назад, и немедленно после его кончины Марианна Николаевна вышла замуж за человека, которого Мерц не пустил бы к себе на порог, за одного из тех бравурных российских пошляков, которые при случае смакуют слово “жид”, как толстую винную ягду».*<sup>3</sup>

Итак, Марианна Николаевна повторяет предательство Клитемнестры. И точно так же, как в доме убитого Агамемнона властвует ранее презираемый Эгист, в доме умерщвлённого Оскара Мерца верховодит Щёголев.

Сравни в *Одиссее*:

*... в то же*

*Время Эгист совершил беззаконное*

*дело в Аргосе,*

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 168.

<sup>2</sup> Там же. С. 166.

<sup>3</sup> Там же.

*Смерти предавши Атрида,  
народ покорился безмолвно.  
Целые семь лет он властвовал  
в златообильной Микене...<sup>1</sup>*

Тёплое отношение Набокова к евреям сродни мнению Ницше, отвешивающего комплименты евреям сверх всякой меры, возможно для того, чтобы позлить свою сестру Элизабет («*антисемитскую дуру*»<sup>2</sup>) и вагнеровский круг, и господ Зибеля и Трейчке: «...у современных немцев появляется то антифранцузская глупость, то антиеврейская, то антипольская, то романтико-христианская, то вагнерианская, то тевтонская, то прусская (стоит только обратить внимание на этих бедных историков, на этих Зибелей и Трейчке и их туго забинтованные головы...»)<sup>3</sup>

С другой стороны, поэту-философу Ницше, конечно же, не могло не польстить то, что евреи едва ли не первыми<sup>4</sup> прочувствовали и приняли его философию.<sup>5</sup> Ницшеанство этих евреев диаметрально отличается их от бывших компатриотов самого Ницше.<sup>6</sup>

Не это ли толкает Ницше высказываться о современных ему евреях как о самой здоровой нации в Европе: «Евреи же, без всякого сомнения, самая сильная, самая цепкая, самая чистая раса из всего теперешнего населения Европы».<sup>7</sup> А в За-

<sup>1</sup> Гомер. *Одиссея* / Перевод с древнегреческого Н. Гнедича. М., 1984. С. 42.

<sup>2</sup> «*antisemitischen Gans*». Nietzsche F. *Sämtliche Briefe Kritische Studienausgabe, Anfang Mai 1884*, "An Malwida von Meysenbug in Rom, Venezia", München, Deutscher Taschenbuch Verlag, de Gruyter, 1986, Band 6, p. 500 (перевод автора).

<sup>3</sup> Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла*. Там же. Т. 2. С. 393.

<sup>4</sup> «*Моими естественными читателями и слушателями уже и теперь являются русские, скандинавы и французы...*» (Ницше Ф. *Ессе homo*. Там же. Т. 2. С. 760).

<sup>5</sup> «*Man erzählte mir von einem jungen Mathematiker in Pontresina, der vor Aufregung und Entzücken über mein Buch ganz Nachtruhe verloren habe; als ich genauer nachfrage, siehe, da war es auch wieder ein Jude (ein Deutscher läst sich nicht so leicht im schlafe stören)*»; Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Briefe Kritische Studienausgabe, Januar 1885–Dezember 1886*, "An Franziska Nietzsche in Naumburg (Fragment) (Sils-Maria, 19. Sept. 1886)", München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1986, Band 7, p. 249–250. См.: Ницше Ф. Собр. соч. 1990. Т. 2. С. 778).

<sup>6</sup> Ницше Ф. *Ессе homo*. Там же. Т. 2. С. 761.

<sup>7</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 42.

ратустре Ницше пишет о четырёх великих народах: греках, персах, немцах и евреях. Вот что говорится о последних: «*“Чтить отца и мать и до глубины души служить воле их” – эту скрижаль преодоления навесил на себя другой народ и стал через это могучим и вечным.*»<sup>1</sup> Немцы, часто критикуемые великим философом, всё-таки не безразличны для автора *Заратустры*; персы – сородичи пророка; греки – неразрывно связаны с Ницше, но евреи пользуются исключительной симпатией Ницше абсолютно независимо от кровной или же культурной связи с ними.

Поэтому совершенно логично, что Щеголев как наследник Сократа представляется в романе *Дар* антисемитом: «*...Марианна Николаевна вышла замуж <...> за одного из тех бравурных российских пошляков, которые при случае смакуют слово “жид”, как толстую винную ягоду.*»<sup>2</sup> Да и литературные вкусы этой ипостаси советского пушкиниста идеально завершают антиницшеановский портрет Щёголева: «*В области литературы он высоко ставил L’homme qui assassina Клода Фаррера, а в области философии – Протоколы Сионских мудрецов. Об этих двух книжках он мог толковать часами, и казалось, что ничего другого он в жизни и не прочитал.*»<sup>3</sup>

Позже, в *Других берегах*, описывая выгнанного из Кембриджского университета компатриота, своего соседа по комнате, Набоков замечает, что тот советовал ему почитать те же самые книги, что и Щёголев Фёдору: «*Гаррисону показалась блестящей идея дать мне в сожители другого White Russian, так что сначала я делил квартиру в Trinity Lane с несколько озадаченным соотечественником, который всё советовал мне, дабы восполнить непонятные пробелы в моём образовании, почитать Протоколы Сионских мудрецов да какую-то вторую книгу, попавшуюся ему в жизни, кажется, L’homme qui assassina Фаррера.*»<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 42.

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 166.

<sup>3</sup> Там же. С. 167.

<sup>4</sup> Набоков В. *Другие берега*. С. 120.



Существует ещё один чрезвычайно любопытный образ Фридриха Ницше, взятый на вооружение Набоковым. В *Рождении трагедии* философ пишет, что убийство трагедии, т. е. преступление, совершённое Еврипидом, не может пройти бесследно для самого убийцы. Слишком оно тяжело! Еврипид, послуживший орудием Сократа, постепенно сознает совершённое им преступление. Покинув демократические Афины, Еврипид обретает вдохновение вновь, по мнению Ницше, при дворе македонского монарха, пишет там *Вакханок*, где и воплощает в персонаже Кадме излишнюю рассудочность, чрезмерную дипломатию по отношению к Дионису. Превращение Кадма в дракона – это кара, которую раскаявшийся поэт налагает на «разумность», на желание подойти с научным анализом к вещам священным. В конце концов – не превращает ли Еврипид в дракона самого себя за то, что некогда сам послужил орудием Сократа и изгнал Диониса из Греции:

*«Бог Дионис слишком могуществен: самый рассудительный противник – каков Пенфей в Вакханках – не приметно для него самого поддаётся чарам бога и затем в этом состоянии зачарованности спешит навстречу своей злощастной судьбе. Суждение обоих старцев, Кадма и Тиресия, по-видимому, есть суждение старого поэта: размышлением отдельных лиц, как бы последние не были умны, не опрокинуть древней народной традиции, этого из поколения в поколение переходящего поклонения Дионису, и следовало бы даже по отношению к таким чудесным силам выказывать по меньшей мере некоторое дипломатически осторожное участие, причём, однако, не исключён и тот случай, что бог найдёт оскорбительным такое прохладное участие и обратит в конце концов дипломата в дракона, что в данном случае и случилось с Кадмом. Это говорит нам поэт, который в течение долгой жизни с героическим напряжением сил боролся с Дионисом, чтобы на склоне жизни закончить свой путь прославлением противника и самоубийством, подобно человеку, который, истомлённый голово-*

кружением, бросается вниз с башни, чтобы как-нибудь спастись от ужасного, невыносимого вихря. <...> Напрасно Еврипид старается утешить нас своим отречением, это ему не удастся: чудеснейший храм лежит в развалинах. <...> И даже то, что Еврипид судьями искусства всех времён был в наказание превращён в дракона, – кого может удовлетворить эта жалкая компенсация?»<sup>1</sup>

Из человека изначально цельного, «прямоугольного», оптимистическая добродетель Сократа творит монстров, впоследствии идущих (как это сказано в *Вакханках*) войной на свой собственный народ. Изгнавши Диониса, сократовская «разумность» отняла у греков всю суть их существования – возможность сверхчеловеческо-трагического экстаза (не имеющего, конечно, ничего общего с дырявой посудой князя Волховского.)



Ницшеанец Набоков представляет Щёголева не только физическим уродом и подленьким противником Мерца-Агамемнона, но гадкой и противной рептилией. В *Даре*, садясь в поезд, который должен навсегда увезти его в Данию, Щёголев сравнится с черепахой: «*Поезд содрогнулся и вот пополз. Марианна Николаевна ещё долго махала. Щёголев, как черепаха, втянул голову (а сев, вероятно, крикнул)*».<sup>2</sup> Представляет особый интерес процесс питания Щёголева незадолго до его отъезда из Берлина. Этот последний совместный ужин Фёдора и Щёголева необходимо разобрать подробнейшим образом: «*...Значит, остаётся сиротой (продолжал он [Щёголев. – А. Л.], принимая за итальянский салат и необыкновенно грязно его пожирая)*».<sup>3</sup> Так неаппетитно насыщается отчим Зины, что тотчас заставляет вспомнить о питании другой неопрятной берлинской черепахи – из зоопарка в *Путеводителе по Берлину*: «*...черепаха, уткнувшись в кучу мокрых овощей, неоправно жуёт листья*».<sup>4</sup> Ленин, другой последова-

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 102.

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 324.

<sup>3</sup> Там же. С. 313.

<sup>4</sup> Набоков В. *Путеводитель по Берлину*. Там же. Т. 1. С. 339.

тель Чернышевского, ораторствующий с черепашьей скорлупы броневика, есть та же черепаха – защищенный броней здравого смысла монстр: *«И толстым, рыхлым языком, чем-то напоминающим язык гугнивого кретина, которого вяло реёт безобразной речью...»*<sup>1</sup>

Таким образом, у Набокова происходит как бы срастание российских наследников Сократа в образе неопрятной черепахи. Один из них, Щёголев – ипостась советского теоретика, учёного-пушкиниста, который только и может, что изгонять дух подлинного Пушкина из его Отечества, его страны, а другой – практик, воплощающий демократические и эгалитаристские утопии Чернышевского.



Возьму на себя смелость утверждать, что в *Даре* все персонажи, которые в той или иной мере противостоят ницшеановским героям и их спутницам, несут на себе те или иные черты монстров, калек, нежити, неприятных («неблагодарных») животных. Обратимся к примерам.

Так, «жаба» Марианна Николаевна изменяет «черепахе»-мужу, «Борису-бодрому», с гнилозубым бароном, вызывая этим неподдельный интерес ницшеанского созидателя-зоолога. И то верно – *«Некогда были вы обезьяной, и даже теперь ещё человек больше обезьяна, чем любая из обезьян»*,<sup>2</sup> пародизирует Гераклита Заратустра. Так почему бы молодому ницшеанцу, привыкшему к опытам небрезгливому энтомологу, не покопаться в пресловутом маленьком человеке. Цитирую эту фразу ещё раз для тебя, читательница: *«Когда же симпатяга отсутствовал, то запросто появлялся в доме тощий балтийский барон, с которым Марианна Николаевна ему изменяла, – и Фёдор Константинович, раза два барона видевший, с гадливым интересом старался себе представить, что они могут друг в друге найти, и, если находят, то какова процедура, эта пожилая рыхлая,*

<sup>1</sup> Набоков В. *Путеводитель по Берлину*. Т. 1. С. 339.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 8.

с жабьим лицом, женщина и этот немолодой, с гнилыми зубами скелет».<sup>1</sup>

Рептилией предстаёт на страницах *Дара* «докучливый и глупый»<sup>2</sup> адвокат Чарский, этот никудышный маклер сводни-судьбы, близкий к литературному миру русского Берлина,<sup>3</sup> но так и не сумевший познакомить Зину с Фёдором: «Она сделала свою первую попытку, уже более дешёвую, но обещавшую успех, потому что я-то нуждался в деньгах и должен был бы ухватиться за предложенную работу, – помочь незнакомой баршине в переводе каких-то документов; но и это не вышло. Впервые, потому что адвокат Чарский оказался маклером неподходящим...»<sup>4</sup>. Я подведу постепенно читательницу моей книги к цели автора *Дара*. Итак, почему именно *Чарский*?

Всякого набоковеда упоминание фамилии Чарского наводит на мысль о *Подвиге*, другом набоковском произведении. Там упоминается о писательнице, публиковавшейся под псевдонимом Чарской – эдакой феминизированной ипостаси пушкинского поэта, персонажа из его «Египетских ночей». В этой женской предтече и заключается первая негативная характеристика Чарского из *Дара*. Писательница Чарская категорически не нравится герою *Подвига* и его матери: «Софья Дмитриевна как чумы боялась Задушевного слова и внушила сыну <...> отвращение к титулованным смуглянкам Чарской...»<sup>5</sup> Ибо – и да простят меня феминистки всех стран и народов, а также их юродивые соратники – женщина, берущая в руки перо, вызывала у Набокова довольно-таки скептическое отношение, но и подозрение.

В этом его мнение совпадало не только с Ницше, но и, – тут я польщу патриотам, – с Пушкиным: «Дело в том, что женщины везде те же. Природа, одарив их тонким умом и чувствительностью самой раздражительною, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 166.

<sup>2</sup> Там же. С. 75.

<sup>3</sup> Впервые читатель встречается с ним на литературных чтениях. См.: Там же. С. 48.

<sup>4</sup> Там же. С. 327.

<sup>5</sup> Набоков В. *Подвиг*. Т. 2. С. 156.



*их, не достигая души; они бесчувственны к её гармонии; примечайте, как они поют модные романы, как искажают стихи самые естественные, расстраивают меру, уничтожают рифму. Вслушайтесь в их литературные суждения, и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия... Исключения редки».<sup>1</sup>*

Убогая Россия, полностью подчинённая оптимистической доктрине Сократа (т. е. после переворота, устроенного рептилией Лениным), населена Набоковым барышнями, охотно забывающими себе головы произведениями литераторов женского пола: *«Вся она расплылась провинциальной глущью, – с местным львом-бухгалтером, с барышнями, читающими Вербицкую и Сейфулину, с убого затейливым театром, с пьяненьким мирным мужиком, расположившимся посередине пыльной улицы».<sup>2</sup>*

А вот что Ницше, другой воспитатель Набокова, пишет о женщинах: *«ещё не способна женщина к дружбе: женщины всё ещё кошки и птицы. Или, в лучшем случае, коровы».<sup>3</sup>*

Ницшеанец-Набоков подхватывает брошенное Заратустрой слово, высказываясь о писательских дарованиях кошки-Чарской: *«...Мартын побавался всякой книги, написанной женщиной, чувствуя и в лучших из этих книг бессознательное стремление немолодой и, быть может, дебелой дамы нарядиться в смазливое имя и кошечкой свернуться на канаве».<sup>4</sup>* То есть, – хочет сказать Набоков, – товарищу Чарской очень далеко до матери ницшеановского героя, Фёдора Годунова-Чердынцева, мычащей коровы и лучшей среди женщин: *«...она [Елизавета Павловна. – А. Л.] сошла по железным ступенькам вагона, поглядывая одинаково быстро то себе под ноги, то на него, и вдруг, с лицом, искажённым мукой счастья, припала к нему, блаженно мыча, целуя его в ухо, в шею...»<sup>5</sup>*

<sup>1</sup> Пушкин А. *Отрывки из писем, мысли и замечания*. М., 1986. Т. 3. С. 440.

<sup>2</sup> Набоков В. *Юбилей*. Там же. С. 646.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 41.

<sup>4</sup> Набоков В. *Подвиг*. Т. 2. С. 156.

<sup>5</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 78.

С таким негативным багажом адвокат Чарский появляется на страницах *Дара*. Набоков сравнивает его с «ленинообразной» рептилией: «*Здравствуйте, Фёдор Константинович, здравствуйте, дорогой*», – крикнул поверх его головы, хотя уже пожимая ему руку, движущийся, протискивающийся, похожий на раскормленную черепаху адвокат – и уже приветствовал кого-то другого».<sup>1</sup>

И в заключение этой главы ещё один гротескный образ, созданный Набоковым и подтверждающий мой тезис о сознательном ницшеанстве этого писателя. Сократическая рептилия проводит дни за разгрызанием орехов своей редкозубой пастью. Ницше, который не переставал хлестать сократических «учёных» по щекам, даёт им ещё одно назначение – повседневный труд этих наследников Сократа, описывается им как перманентное разгрызание орехов, щёлканье ореховой скорлупой, под которой – пустота. На страницах *Так говорил Заратустра* Ницше вспоминает не только о своём скандальном расставании со стерильными сократическими учёными («*Ибо истина в том, что ушёл я из дома учёных, и ещё захлопнул дверь за собой*»<sup>2</sup>), но и о своём неутолённом голоде за столом их «науки»: «*Слишком долго сидела моя душа голодной за их столом; не научился я, подобно им, познанию, как щёлканью орехов*».<sup>3</sup>

Позже, на страницах *Заратустры* Ницше ещё раз возвращается к образу учёных – грызунов орехов: «*...именно к ним [тем, кто мутит воду познания. – А. Л.] обращались более умные из среды недоверчивых и грызущих орехи: именно у них вылавливали они наиболее припрятанную рыбу их*».<sup>4</sup> (Не дуйся, бука-славист, не бурчи, пользуйся лучше заколдованным Дроссельмейером, а то зубки сломаешь! Они у тебя и так не сахарные!)

Как же мог ницшеанец Набоков пройти после всего этого мимо образа грызущего орехи сократического «учёного»! Его Чернышевский, насаждая

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. С. 60–61.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 90.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Там же. С. 125.

как русский Сократ оптимистическое учение на родине Набокова, мечтает, естественно, об орехах, и ницшеанец Набоков находит нужным процитировать на страницах *Дара* именно эту фразу из «Что делать?»: «Нашего же героя юность была кондитерскими околдована, так что потом, моря себя голодом в крепости, он – в «Что делать?» – наполнял иную реплику невольным воплем желудочной лирики: “У вас и кондитерская есть недалеко? – Не знаю, найдётся ли готовый пирог из гречких орехов, – на мой взгляд, это самый лучший пирог, Мария Алексеевна”».<sup>1</sup>

Чернышевский, уже получивший в своё распоряжение «Современник», пропагандируя, как и положено сократическому мыслителю, идеи равенства, регулярно скармливает читателю на десерт драгоценные для разумного диалектика орехи. И ницшеанец Набоков снова подчёркивает: «Его [Чернышевского. – А. Л.] журнальная деятельность с 53 года до 62 года проникнута насквозь стремлением питать тощего русского читателя здоровым домашним столом разнообразнейших сведений: порции были огромные, хлеба отпускалось сколько угодно, по воскресеньям давались орехи; ибо, подчёркивая значение мясных блюд политики и философии, Николай Гаврилович никогда не забывал и сладкого».<sup>2</sup>

И конечно же, дом Щёголева на Агамемнон-штрассе не может не быть настоящей ореховой кладовой – сокровищницей, где лежат ореховые россыпи для того, чтобы гнилозубый, но настойчивый учёный в любой момент мог насладиться своим излюбленным лакомством. А потому именно с орехов начинается знакомство читателя с Щёголевым, и осматривающий квартиру Фёдор видит полную вазу орехов: «А вот столовая, – и, отворив дверь в глубине, он [Щёголев. – А. Л.] на несколько секунд, словно снимая с выдержкой, подержал её в открытом положении. Фёдор Константинович миновал взглядом стол, вазу с орехами, buffet...»<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 203.

<sup>2</sup> Там же. С. 209.

<sup>3</sup> Там же. С. 130.

Щёголев, исполнивший свою роль, уезжая на север,<sup>1</sup> в Данию, должен завершить все функции, в том числе и свою убогую роль учёного – в вазе осталось ещё несколько неразгрызанных орехов, до которых так лакомы все наследники Сократа. Потому, перед тем как поочередно превратиться в мерзейшего карлика, а затем в отвратительную черепаху и навсегда покинуть страницы романа, Щёголев дощёлкивает орехи, которые совершенно не нужны поэту Фёдору (вскоре ему понадобятся совсем другие добродетели-*virtù*, а именно – добродетель «доброто» поэта-преступника, чтобы взломать дверь щёголевской квартиры и насладиться любовью): *«Всё стихло опять. Фёдор Константинович вошёл в столовую, где Щёголев, усевшись, дощёлкивал орехи, жуя на одной стороне, а Марианна Николаевна убирала со стола»*.<sup>2</sup>

Набокову недостаточно одного Щёголева, и он продолжает сводить счёты с другими лакомыми до орехов наследниками Сократа. Фёдор Годунов-Чердынцев, окружённый *«имеющими отношение к литературе»* людьми, заявляет, находясь в гостях, о своих творческих планах, касающихся написания биографии Чернышевского, как об упражнении в стрельбе: *«Упражнение в стрельбе»*, – *сказал Фёдор Константинович*.<sup>3</sup> И это логично, Фёдор наследовал рефлексы отца, который во время своих сверхевропейских странствий *«на стоянках упражнялся в стрельбе, что служило превосходным средством против всяких пристававших»*<sup>4</sup>: *«...отец взял у него пистолет, мгновенно ловко вдавил в обойму пули и семью выстрелами выбил ровное К.»*<sup>5</sup> Набоков, как я уже заметил выше, наделил этими качествами Константина Годунова-Чердынцева, символизируя, таким образом, его духовное родство с воином, «старым» артиллеристом Ницше и с добродетелями стрелка Заратустры. Читателю-ницшеанцу это понятно.

<sup>1</sup> В представлении греков царство Аида находилось на севере. Это, возможно, объясняет тот факт, что Набоков ссылается ненужных ему персонажей на север или северо-восток. Так он поступает не только с Александрой Яковлевной Чернышевской, Борисом Щёголевым и Марианной Николаевной из *Дара*, но и с другой Марианной Николаевной из *Соглядатая*.

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. С. 316.

<sup>3</sup> Там же. С. 177.

<sup>4</sup> Там же. С. 102.

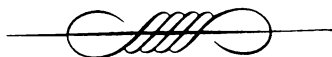
<sup>5</sup> Там же. С. 71.

Фёдор Годунов-Чердынцев «говорит притчами», чтобы их понять, надо иметь длинные ноги («*В горах кратчайший путь – с вершины на вершину; но для этого надо иметь длинные ноги. Притчи должны быть вершинами: и те, к кому говорят они, – большими и рослыми*»<sup>1</sup>), а длинные ноги от рождения даны не всякому. Инженер Керн, чьё отношение к литературе ограничивалось лишь знакомством с Александром Блоком («*Керн, занимавшийся главным образом турбинами, но когда-то близко знавший Александра Блока*»<sup>2</sup>), конечно же, не может осилить ницшеановской аллюзии поэта Фёдора. Чтобы понять ницшеанца, Керн делает типично сократическое усилие – то есть пытается расколоть орех. Как и следовало ожидать, несмотря на несколько попыток, Керн не достигает желаемого. Но другой представитель науки, тряся неким пыльным словарём от которого першит в горле (или тяжелой, рассыпающейся на листы энциклопедией), спешит на помощь собрату, таща одно из приспособлений учёных для достижения научной истины, щипчики для орехов. Вот как ницшеанец Набоков описывает коллективную научную деятельность Сократиков:

*«Упражнение в стрельбе», – сказал Фёдор Константинович.*

*«Ответ по меньшей мере загадочный», – заметил инженер Керн и, блеснув голыми стёклами пенсне, попытался раздавить орех в ладонях. Горяинов передал ему, таща их за ножку, щипцы».*<sup>3</sup>

Набоков не берёт на себя труд описать результат раскалывания ореховой скорлупы, ибо это, читательница, не представляет ни малейшего интереса подлинному созидателю – поэту.



<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Т. 2. С. 29.

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 286.

<sup>3</sup> Там же. С. 177.



## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### ИМЯ ИМ ЛЕГИОН

*Проповедники равенства.  
Бессильное безумие тирана вопиет  
в вас о "равенстве": так скрывается  
ваше сокровенное желание тирании  
за словами о добродетели!*

**Фридрих Ницше.** *Так говорил Заратустра*

Увы! Не только лидеры Советской России и стерильные ученые последователи Сократа носят черты монстров, калек и отвратительных животных – нет, страницы набоковских романов прямо-таки кишат подобными персонажами. В этой главе я покажу, что Набоков строго преследует свою цель – сводит счёты с оптимистической доктриной и её вездесущими олицетворениями, которые, в свою очередь, противопоставляются автором благородным ницшеановским героям.

Начнём со следующего примера: ницшеановские герои Набокова открыто высказывают своё презрение ко всякого рода творческим союзам и «творческим» организациям, ибо трудно представить себе Фридриха Ницше, деятельно участвующего в каком-либо общественном союзе или ином собрании, лояльно вздымающего руку<sup>1</sup> к потолку в знак одобрения решения профсоюза.

Не потому ли, что бывший профессор базельского Педагогума, вспоминая свою бытность «Zoon politicon», восклицает вместе с крепконо-

---

<sup>1</sup> Сразу вспоминается одно из «блестящих» вступлений Лосева к собранию сочинений Платона: «Н. Г. Чернышевский всячески приветствовал Платона за то, что он жизнь ставил выше искусства, отстаивал необходимость подчинения искусства общественным потребностям, хотя было бы и большой глупостью говорить о какой-то зависимости Чернышевского от Платона или вообще от мирового платонизма» (Лосев А. Ф. *Жизненный и творческий путь Платона* // Платон. М., 1968. Т. 1. С. 69).

гим персидским пророком: «*И когда я жил у них, я жил над ними. Оттого и невзлюбили они меня*». <sup>1</sup>

Вместе с тем ни в коей мере не следует принимать повсеместно бытующее несправедливое мнение, представляющее Ницше как нелюдима, избегающего общения с homo sapiens. Нет, он просто устанавливает свои собственные законы человеческого существования. Ведь если ты – творец, ты должен повсюду утверждать свою господствующую волю, устанавливать свою собственную дистанцию между собой и человеком, одним словом: «*keep your distance!*», как советовал воспитатель Ницше Шопенгауэр в своей *Притче о дикобразах*, к которой сам Фридрих Ницше отсылает в своем *Рождении трагедии*. <sup>2</sup>

Ницшеановский герой живёт и творит на «горе» в гордом одиночестве («*За последние десять лет одинокой и сдержанной молодости... [Фёдор Константинович. – А. Л.] жил на скале, где всегда было немножко снега и откуда было далеко спускаться в пивоваренный городок под горой...*» <sup>3</sup>), и когда ему приходится сталкиваться с «общественностью» и его «объединениями», он воспринимает своё к ним отношение как явное недоразумение: «*И вообще – если я член Союза, то это по рассеянности*». <sup>4</sup> Так говорит Фёдор Ширину и тотчас ссылается на Кончеева и Владимира: «*Честно говоря, Кончеев прав, что держится от всего этого в стороне*». <sup>5</sup>

См. также: «*Как собеседник, Владимиров был до странности непривлекателен. О нём говорили, что он насмешлив, высокомерен, холоден, неспособен к тепле приятельских прений, – но так говорили и о Кончееве, и о самом Фёдоре Константиновиче, и о всяком, чья мысль живёт в собственном доме, а не в бараке или кабаке*». <sup>6</sup>

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 91.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 148.

<sup>3</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 148.

<sup>4</sup> Там же. С. 285.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Там же. С. 287.

А вот как выглядят на страницах романа противники независимого творца: «Сам Ширин был плотный, коренастый человек, с рыжеватым бобриком, всегда плохо выбритый, в больших очках, за которыми, как в двух аквариумах, плавали два маленьких, прозрачных глаза, совершенно равнодушных к окружающему миру. Он был слеп как Мильтон, глух как Бетховен и глуп как Беттон».<sup>1</sup>

И дальше: «Сейчас, идя вместе с Шириным через парк, Фёдор Константинович бескорыстно наслаждался смешной мыслью, что его спутник – глухой слепец с заткнутыми ноздрями, но к этому состоянию относится совершенно равнодушно, хотя иногда не прочь наивно вздохнуть о разобщенности интеллигента с природой...»<sup>2</sup>

Все упомянутые и разобранные выше черты русского Сократа – невосприимчивость к природе, слепота и глухота – свойственны этому общественному деятелю. И конечно же, подчёркивает нищезанец Набоков, для него долг перед последними людишками превышает творчество. Не потому ли, когда нищезановский герой Фёдор пытается дипломатично (а у всякого нищезанца есть что-то от дипломата Кадма) перевести пренеприятнейшую беседу на литературу, Ширин прерывает его:

«Как ваш новый роман? – спросил Фёдор Константинович. – Подходит к концу?»

«Дело сейчас не в моём романе. Я вас очень прошу дать своё согласие. Нужны молодые силы. Этот список мы с Лишневским обдумывали без конца».<sup>3</sup>

Высказавши подобное «советоидное» презрение к творчеству, Ширин не может – уж настолько, товарищи диалектики, у вас развиты плебейские рефлексы! – просто не в силах, сей же час не наброситься на нищезановского созидателя: «Кончеев, – сказал Ширин сердито. – Кончеев – никому не нужный кустарь-одиночка, абсолютно лишённый общих интересов».<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Набоков В. Дар. С. 282.

<sup>2</sup> Там же. С. 283.

<sup>3</sup> Там же. С. 285.

<sup>4</sup> Там же. С. 287.



Главенствует над этим выборным, демократическим Союзом писателей некто Гурман. Этот общественный лидер настолько противен Набокову, что он уподобляет его Чернышевскому. Если ранее писатель, описывая Чернышевского, подчёркивает близость онго Жану-Жаку Руссо и его антагонизм Вольтеру<sup>1</sup> – то и для описания Гурмана Набоков использует тот же самый каламбур, что и для подчёркивания противостояния Вольтера Чернышевскому – сравним обе фразы *Дара*.

Вот приведённое уже выше набоковское мнение о Чернышевском: *«Истинный энциклопедист, своего рода Вольтер, с ударением, правда, на первом слоге...»*<sup>2</sup>

Ср. с описанием Гурмана: *«Из этих Гурман (ударение на первом слоге) был толстый, лысый человек, с кофейным родимым пятном в полчерепе, большими покатыми плечами и презрительно-обиженным выражением на толстых лиловатых губах»*.<sup>3</sup>

В этом демократическом царстве противников ницшеановского героя властвует еще одно земноводное, о котором уже упоминалось на страницах моей книги:

*«Второй приятель Гурмана, рыхлый, серый, томный, в роговых очках, похожий всем обликом на мирную жабу, которая желает только одного – чтобы её оставили совершенно в покое на сыром месте...»*<sup>4</sup>



В последней главе *Дара* Фёдор становится свидетелем демократического таинства – выборов – в среде берлинских писателей, и среди них ему встречается живая пародия на самого Заратустру.

Факт появления персидского пророка среди берлинских «лисиц пера», слепцов и монстров абсолютно невероятен. Потому если уж среди демократов-писателей окажется некто похожий на За-

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. С. 282.

<sup>2</sup> Там же. С. 210.

<sup>3</sup> Там же. С. 286.

<sup>4</sup> Там же. С. 286.

ратустру, то это может быть лишь карикатура на пророка: «...громадный, загадочный толстяк, живший отшельником в сосновом лесу под Берлином, чуть ли не в пещере, и там составивший сборник советских анекдотов...»<sup>1</sup>

Заратустра-пророк, смеющийся, вечно, блаженно-смеющийся: «Заратустра вещей словом, Заратустра вещей смехом, не нетерпеливый, не безусловный, любящий прыжки и вперёд, и в сторону; я сам возложил на себя этот венец!»<sup>2</sup> Доктрина, чуждая Заратустре, не может не являться ипостасью духа тяжести – мрачного, важного, тяжёлого карлика, врага Заратустры, врага смеха: «И особенно потому, что враждебен я духу тяжести, в этом также природа птицы: и поистине, я враг смертельный, враг заклятый, враг врожденный! О, куда только не летала и куда только не залетала моя вражда!»<sup>3</sup> Трудно подыскать более идеального антагониста Заратустре, чем живущий в пещере, расположенной под Берлином, отшельник, да ещё коллекционирующий юмор государства, основанного на оптимистическом утверждении Сократа, что «лишь знающий добродетелен».

Набоковский Сталин, разделяющий с матерью Чернышевского тайную слабость к гигантским овощам,<sup>4</sup> он еще повстречается нам с тобой, читательница, среди членов Союза русских писателей Германии. Набоков, описывая его, указывает не только на знаменитую оспу, уродующую лицо Сталина, и на кавказское происхождение социалистического тирана, но и на волосы персонажа, сравнивая их с сапожной щёткой, – отсыл к сапожнику Джугашвили-отцу.<sup>5</sup> Вот как Набоков описывает его одного из ближайших сторонников

<sup>1</sup> Набоков В. Дар. С. 289.

<sup>2</sup> Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Там же. Т. 2. С. 213.

<sup>3</sup> Там же. С. 138.

<sup>4</sup> Набоков В. Истребление тиранов. М., 1990. Т. 4. С. 387. Сравни также: «Из дико цветущего моего государства он сделал обширный огород, в котором особой заботой окружены репа, капуста да свёкла; посею все страсти страны свелись к страсти овощной, земляной, толстой». Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Там же. С. 138.

<sup>5</sup> См.: Большая Советская Энциклопедия. М., 1976. Т. 24. С. 400.

Гурмана (с ударением, естественно, на первом слоге) и играющего свою, отведенную ему роль в этом демократическом фарсе: *«Дочитав, казначей закрыл со щёлком рот, а поодаль уже вырос член ревизионной комиссии, грузинский социалист, с выщербленным оспой лицом, с чёрными, как сапожная щётка, волосами, и вкратце изложил свои благоприятные впечатления»*.<sup>1</sup>



Среди писательской братии русского Берлина немало генетически не предрасположенных к творчеству людей, являющихся, согласно приведённым выше доводам, противниками истинного созидателя.

В первой главе *Дара* Фёдор Годунов-Чердынцев вместе с матерью слушают русского литератора, представленного так: *«...писатель с именем, в своё время печатавшийся во всех русских журналах...»*<sup>2</sup> Возможно, здесь речь идёт о Подтягине, ещё раз промелькнувшем в толпе набоковских героев. Ведь Подтягин – один из любимейших персонажей Набокова, к которому автор настолько привязался ещё со времён своего первого романа, что тот переходит потом из одного набоковского произведения в другое, как Фиглярин путешествует по пушкинским стихотворениям. Как бы то ни было, набоковского Подтягина частенько печатавали в календарях, пишет Набоков в *Машеньке*: *«Меня очень любили в календарях печатать. На исподе, над дежурным меню»*.<sup>3</sup>

О том же Подтягине упоминает в *Даре* Ширин: *«Было время <...>, когда в правление нашего Союза входили все люди высокопорядочные, вроде Подтягина, Лужина, Зиланова, но одни умерли, другие в Париже»*.<sup>4</sup>

После отъезда Ганина, Подтягин умирает *«на руках у Алфёрова»* о чём математик Алфёров так занимательно рассказывал жене знаменитого шах-

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 289–290.

<sup>2</sup> Там же. С. 83–84.

<sup>3</sup> Там же. С. 101.

<sup>4</sup> Там же. С. 284.

матиста в другом набоковском произведении: «...вспомнила и Алфёрова, который бывал всюду и охотно рассказывал, что однажды у него на руках умер старый поэт...»<sup>1</sup>

А вот каким этот известный в прошлом русский литератор предстаёт Фёдору и его матери: «...седой, бритый, чем-то похожий на удода старик, со слишком добрыми для литературы глазами...»<sup>2</sup> И здесь Набоков снова проявляет себя истинным ницшеанцем, имеются в виду прекраснейшие слова Ницше, так характеризующего злого пророка: «Заратустра, первый психолог добрых, есть – следовательно – друг злых»<sup>3</sup> Речь идет именно о злом Заратустре, утверждавшем неспособность добрых к созиданию, о неприятии добрыми творца:

*«Ибо добрые – не могут созидать: они всегда начало конца – они распинают того, кто пишет новые ценности на новых скрижалях, они приносят себе в жертву будущее – они распинают все человеческое будущее!»*

*Добрые – были всегда началом конца...*

*И какой бы вред ни нанесли клеветники на мир, – вред добрых самый вредный вред».*<sup>4</sup>

И именно неспособность излишне доброго литератора к созиданию объясняет набоковское сравнение Подтягина с пёстрой краснохолодной птицей, называемой в народе «пустушкой»<sup>5</sup> – неразлучный со словарём Даля Набоков об этом превосходно знал: «Однажды, на рыночной площади среди подержанных Гомеров и Горацийев Толковый Словарь Даля в четырёх томах. Я приобрёл его и читал, по несколько страниц ежевечерне, отме-

<sup>1</sup> Набоков В. *Защита Лужина*. Т. 2. С. 133.

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. С. 84.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Ессе готто*. Там же. Т. 2. С. 765.

<sup>4</sup> Там же. Т. 2. С. 765. Ср. также:

*«И кто должен быть творцом в добре и зле, поистине, тот должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности.»*

*Так принадлежит высшее зло к высшему благу; а это благо есть творчество».*

<sup>5</sup> «Удод – ж. птица Урора ерорс, пусту(о)шка, потатуйка». Даль В. *Толковый словарь живого великорусского языка*. М., 1999 (1882). Т. 4. С. 474.

чая прелестные слова и выражения: “ольял” – будка на баржах (теперь уже поздно, никогда не пригодится)». <sup>1</sup> В самом названии птицы заложена «пустота», ещё раз подчёркивающая стерильность Подтягина как созидателя.

Но и этого недостаточно злому ницшеанцу Набокову. Подтягин в *Машеньке* дважды сравнивается с жалким животным – явно негероической и далёкой от творчества морской свинкой: «В профиль он [Подтягин. – А. Л.] был похож на большую поседевшую морскую свинку» <sup>2</sup>; и ещё разок, если ты, читательница, не поверила мне: «Получив через несколько минут билетик, он [Подтягин. – А. Л.] обрадовался, стал ещё больше похож на толстую морскую свинку». <sup>3</sup>

В довершение всего Набоков в определённый момент вообще лишает Подтягина тела, называя его тенью: «Потом, вернувшись домой, он [Ганин. – А. Л.] видел, как Подтягин стучался в номер Клары, и Подтягин показался ему тоже тенью, slučajной и ненужной». <sup>4</sup>

Таковы у Набокова некоторые из перебивающихся литературой эмигрантов. Но оставим же их в покое и обратимся к другим, не менее важным антиницшеановским героям *Дара*, из которых более всего мне не хотелось бы обойти вниманием однофамильца автора *Что делать?*, частично повторяющего судьбу Чернышевского.

Набоков сознательно усиливает связь Яши Чернышевского с русским Сократом тем фактом, что тот – не просто однофамилец знаменитого шестидесятника, но и его предок был крещён отцом Н. Г. Чернышевского: «...Александра Яковлевна властно требовала от меня некоторого творческого содействия; получалось странное соответствие: её муж, гордившийся своим столетним именем и подолгу занимавший историей одного знакомых (деда его крестил в царствование Николая I, – в Вольске, кажется, – отец знаменитого Чернышевского, толстый, энергичный свя-

<sup>1</sup> Набоков В. *Другие берега*. Т. 4. С. 277.

<sup>2</sup> Набоков В. *Машенька*. Т. 1. С. 44.

<sup>3</sup> Там же. С. 90.

<sup>4</sup> Там же. С. 71.

ценник, любивший миссионерствовать среди евреев и в придачу к духовному благу дававший им свою фамилию)...»<sup>1</sup>

Помимо этой пространственно-временной связи с шестидесятником Набоков подчёркивает идентичность одного «любовного треугольника» между Н. Г. Чернышевским, Добролюбовым и Ольгой Сократовной, с одной стороны, и другого – с Яшей, Рудольфом и Ольгой:

Ср. *Дар* про Чернышевского, его жену и Добролюбова: «Прогулки с Ольгой Сократовной “совершенно помutilи” его [Добролюбова. – А. Л.]. <...> “Я понимаю, что я не должен ничего добиваться, потому что Николай Гаврилович всё-таки мне дороже её”».<sup>2</sup>

Ср. *Дар* про Яшу, Рудольфа и Ольгу: «“Я дико влюблён в душу Рудольфа”, – писал Яша своим взволнованным, неоромантическим слогом».<sup>3</sup> Писал, конечно парафразируя слова пушкинского Тацита о Тите Петронии: «Я уважал его обширный ум; я любил его прекрасную душу»<sup>4</sup>. Набоков продолжает: «В Олю он [Рудольф] окончательно влюбился после велосипедной прогулки с ней и с Яшей по Шварцвальду.... <...> Оля в свою очередь (в тех же самых лесах, у того же самого круглого чёрного озера) “поняла, что увлеклась Яшей”, которого это так же угнетало, как его пыл – Рудольфа, и как пыл Рудольфа – её самоё, так что геометрическая зависимость между их вписанными чувствами получилась полная...»<sup>5</sup>

«...Треугольник, вписанный в круг...»<sup>6</sup> — так высказывается об этой несовершенной троице писатель-ницшеанец.

«Как поэт он [Яша. – А. Л.] был, по-моему, очень хил; он не творил, он перебивался поэзией, как перебивались тысячи интеллигентных юношей его типа...»<sup>7</sup> — замечает Фёдор Годунов-Чер-

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. С. 37.

<sup>2</sup> Там же. *Дар*. С. 233.

<sup>3</sup> Там же. С. 40.

<sup>4</sup> Пушкин А. *Повесть о римской жизни*. М., 1986. Т. 3. С. 361.

<sup>5</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 41.

<sup>6</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 159.

<sup>7</sup> Там же. С. 35.

дынцев и тут же объясняет причину Яшиной творческой слабости, которая, по его мнению, крылась в сократовском, логичном, научном подходе к легкокрылой поэзии: «...о эти Яшины тетради, полные ритмических ходов, – треугольников да трапеций!...»<sup>1</sup> Что же касается Рудольфа и Ольги, то и они, подобно Яше Чернышевскому, – несовершенны, конечно, каждый несовершенен на свой лад: «... на самом деле [Рудольф] был, что называется, “буриш”, – правда, буриш с лёгким заскоком, с тягой к тёмным стихам, к хромой музыке, кривой живописи...»<sup>2</sup> Ольга же, – и этим у Набокова всё сказано, – занималась искусствоведением: «...Оля занималась искусствоведением (что в рассуждении эпохи звучит, как и весь тон данной драмы, нестерпимо типичной нотой)...»<sup>3</sup>

– Что же тут ницшеанского?, — спросит поскучневшая читательница. А вот что! Для «философа вечного возвращения», Геракл..., то бишь для Фридриха Ницше, мир подвластен кольцу, совершенному как космос.<sup>4</sup> И из этого кольца может вырваться – на самый короткий миг! – лишь истинный созидатель. Его дело – готовить царство сверхчеловека – эдакого сверхсущества, которое, придя некогда на Землю, полностью уничтожит все прежние законы и в том числе закон кольца. Но покамест закон кольца остаётся в силе, и маленький сократовский человек, женатый на политкорректной Ксантиппе с тупым выранием груди... Берегись! Вот и ещё один Сократик вывалился из окна с *Лотманом* под мышкой! Осторожно, переступаем, не запачкайся!

Да, я выпил сегодня лемносского винца! Заглотнул его, солнечно-пряного, точно кровь из дёсен, когда в зубы дадут, – вместе с кусочками

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. С. 36.

<sup>2</sup> Там же. С. 40.

<sup>3</sup> Там же. С. 41.

<sup>4</sup> «Итак, он [бог] путём вращения округлил космос до состояния сферы, поверхность которой повсюду равно отстоит от центра, то есть сообщил Вселенной очертания, из всех очертаний наиболее совершенные и подобные самим себе, – а подобное он нашёл в мириады раз прекраснее того, что неподобно» (Платон. *Тимей* / Перевод С. С. Аверинцева. М., 1971. Т. 3 (1). С. 473).

пробки, что бултыхались в бокале, словно золото-спинные дельфины! Не нравится тебе *такая* наука, Виламовиц? (...«Мёллендорф–Мюллендорф, – говорю я вам. – Везёт же мне на мельников!») – Так вот, покамест не спустится с гор, пританцовывая, тот, кого мы с тобою ждём, любовь моя...

Помнишь ли и ты, Николь, – нет, не теперешних твоих приятелей: не базельского лягавого с брюхом будто кадь из-под мюнхенского пива; не вонючеглазого судью – твоего бывшего стряпчего; и не приятельницу свою, зомбиобразную трибанду с шакалей душою и прогнившими потрохами, – конечно, ты уже не помнишь того загорелого старца с изумрудными глазами и седой бородой с удивительным голубоватым оттенком, бренчащего саблей, коего мы повстречали весной 2001 года у водопада, метрах в ста от Сильвапланы? Увы! «*Маленький человек вечно возвращается!*»,<sup>1</sup> – с горечью воскликнул Заратустра, и, оглянувшись на учёных и их ослов (ох, трудноватенько различить!), выругался на санскрите.

Яша, Ольга и Рудольф – маленькие, несовершеннолетние люди, осколки человека. И однофамилец русского Сократа, Яша – лишь треть этого несовершенства. Никогда ему не сделать даже попытки вырваться из кольца вечного возвращения, в отличие от истинного творца. А такой творец есть в набоковском творчестве! Оставь-ка, читательница, мою бутылку, да открой *Аду, или Страсть!*

Ван Вин, герой этого романа, сделал попытку к освобождению из кольца вечного возвращения. Вот как Набоков описывает путь героя к встрече с Адой. Напомню, речь идёт о последней по времени встрече возлюбленных после многочисленных и продолжительных расставаний: «*В этой головокружительной гонке он каким-то образом проскочил дорогу на Оберхалбштайн на Сильвапланской развилке (150 километров к югу от Альвены), повернул назад, на север, через Кьявенну и Шплюген, чтобы в совершенно апокалиптической ситуации выехать на шоссе n-19 (ненуж-*

<sup>1</sup> Набоков В. Дар. Т. 3. С. 39.



ный крюк длиной в 100 километров) по ошибке свернул на восток, к Шюру».<sup>1</sup>

Владимир Набоков не раз бывал в Энгадине – впервые Набоков приезжает в Санкт-Мориц в декабре 1921 года. Писатель хорошо знал и любил этот швейцарский кантон. В июле 1965 года, за четыре года до публикации романа *Ада, или Страсть*, писатель снова приезжает в Граубюнден, и создаёт в Санкт-Морице стихотворение *Средь этих лиственниц и сосен*,<sup>2</sup> посвящая его величественной красоте этого места, прежде названного Фридрихом Ницше «кусочком высшей земли».<sup>3</sup>

В приведённой выше цитате из *Ады* отсыл к Ницше очевиден, Сильвапланская развилка символизирует попытку Вина вырваться из кольца вечного возвращения, нескромное желание создателя стать – хоть ненадолго! – неподвластным закону кольца, стать эдаким принцем *Vogelfrei*, как называли таких беспредельщиков древние германцы.

Исходя из топографии местности, Ван Вин проезжает по шоссе, ведущему к озеру Сильваплана и посёлку Сурлей, где находится пирамидальный камень, у которого Фридриху Ницше пришла мысль о вечном возвращении<sup>4</sup>:

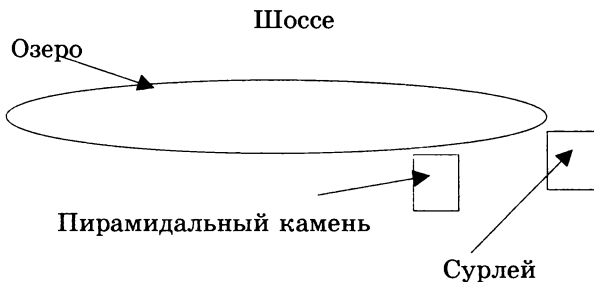
<sup>1</sup> Набоков В. *Ада, или Страсть* / Перевод А. Дранова. Киев. 1995. С. 524. «*Traveling too fast and too wildly, he somehow missed the Oberhalbstein road at the Sylva plana fork (150 kilometers south of Alvena); wiggled back north, via Chiavenna and Splügen, to reach in apocalyptic circumstances Highway 19 (an unnecessary trip of 100 kilometers); veered by mistake east to Chur*». Nabokov V. *Ada or ardor: a family chronicle*, New York, 1990, p. 552.

<sup>2</sup> «Новый Журнал». Нью-Йорк, 1956.

<sup>3</sup> «Stück Ober-Erde». Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Briefe Kritische Studienausgabe, Januar 1880–Dezember 1884*, An Franz Overbeck in Basel (Postkarte) (Sils-Maria, 23 Juli 1881), München, Deutscher Taschenbuch Verlag, de Gruyter, 1986, Band 6, p. 110. «*кусочка высшей земли*» (перевод автора).

<sup>4</sup> Заметка об этой находке была зачитана в Петербурге на «Набоковских чтениях» 2001 года профессором Борисом Аверинным. С тех пор (вот уже более двух лет) организаторы конференции так и не удосужились сообщить мне о публикации статьи. Надеюсь, что их забывчивость не объясняется тем, что какой-нибудь потомок александрийского библиотекаря, жадный до чужих находок щекасто-перхотный сыч, приютил мою бездомную сверхевропейскую мысль. Но даже если так, я не сделаю из него персонажа моего следующего романа, ведь, как писал другой мой воспитатель в области классицизма, Шарль Моппас: «*Les biens spirituels sont indivisibles et communs a l'esprit humain. Seraientils divisibles, il ne faut pas en faire plus de cas*

«Я шёл в этот день вдоль озера Сильваплана через леса; у могучего пирамидально нагромождённого блока камней, недалеко от Сурлея, я остановился. Там пришла мне эта мысль».<sup>1</sup>



Я уже писал, что Константин Кириллович Годунов-Чердынцев из *Дара* представляет из себя то, что Фридрих Ницше называл «добрым европейцем». Следовательно, он не может не быть противником доктрин, разрушающих, по мнению Ницше, Европу: социализма, эгалитаризма, демократии, феминизма и проч. Сам Ницше – «добрый европеец»: «...мне не стоит никакого труда быть «добрым европейцем»».<sup>2</sup> Всякий же «добрый европеец» чувствует дух своего континента и всегда готов к бою за избранный странствующим Дионисом – ведь именно здесь некогда родилась трагедия – континент: «Я вобрал в себя дух Европы – теперь я хочу нанести контрудар»,<sup>3</sup> – напишет Ницше.

Да, читательница, на сегодняшний день эта битва проиграна, и маленький человек, словно ко-

---

que des autres. “Notre Père”, disaient autrefois mes pêcheurs de Provence: “donnez-nous du poisson assez pour en manger, en donner, en vendre et nous en laisser dérober”».

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Ecce homo*. Там же. Т. 2. С. 743. «Ich gieng an jedem Tage am See von Silvaplana durch die Wälder; bei einem mächtigen pyramidal aufgetürmten Block unweit Surlei machte ich Halt. Da kam mir dieser Gedanke». Friedrich Nietzsche, *Ecce homo*, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, de Gruyter, 1988. P. 335.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Ecce homo*. Там же. Т. 2. С. 700.

<sup>3</sup> Nietzsche F. *Schriften und Entwürfe 1876–1880*, p. 389.

заявка, прыгает по Европе, усердно переделывая её по своему образу и подобию. Стоит ли прекращать борьбу? Жалко ли потраченных сил? Конечно жалко! Но, как заявил синемундирным палачам в застенках Нанта мой брат-шуан, Франсуа де Шаретте: *«Rien ne se perd, Messieurs!»*

Европейский поэт принимается за созидание – построение своего мира, и это созидание происходит сперва на его собственном континенте – в Европе. Постепенно поэт, совершенствуясь в своём искусстве, раздвигает границы земель, «устанавливает» рубежи своего мира всё дальше и дальше, охватывая всё более и более широкое пространство, проходя, таким образом, стадии «сверхевропейскую», «сверхазиаатскую» и в заключение – «космическую». Об этом говорит Ницше, пророчествуя «большую политику», которая, по его словам, начинается с него самого: *«Понятие политики совершенно растворится в духовной войне, все формы власти старого общества взлетят на воздух – они покоятся все на лжи: будут войны, каких ещё никогда не было на земле. Только с меня начинается большая политика»*.<sup>1</sup>

И ницшеанец Набоков превращает в последователей этой «большой политики» всех своих героев-ницшеанцев. Таковым является не только Константин Чердынцев, но и его сын. Набоков, представляет нам Фёдора ненавистником малой политики, разрушающей его континент. Он просто не приемлет и не желает понимать всё то, что ведёт к уничтожению мощи Европы – действию «антипоэтическому» *par excellence*, ибо оно препятствует созданию отправной базы «поэтической экспансии» европейца и, следовательно, делает невозможным возвращение Диониса назад, в Европу: *«...для [Фёдора Годунова-Чердынцева. – А. Л.] так называемая политика (всё это дурацкое чередование пактов, конфликтов, обострений, трений, расхождений, падений, перерождений ни в чём неповинных городков в международные договоры) не значило ничего...»*<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Ессе ното*. Там же. Т. 2. С. 763. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 33.

Не потому ли Яша Чернышевский, как ипостась русского Сократа, наоборот, всецело подвержен влиянию малой, я бы сказал, *антиевропейской* политики. Набоков пишет: «...его [Яшины. – А. Л.] безвкусовые тревоги (“неделю был как в чаду”, потому что прочитал Шпенглера)...»<sup>1</sup>

Освальд Шпенглер – автор *Заката Европы*, чрезвычайно модного после своего выхода в 1922 году труда, который Яша мог в течение трёх лет читать до самой своей смерти в 1925 году. А высчитать дату Яшиного самоубийства несложно. В *Даре* есть все необходимые для этого элементы: Фёдор Годунов-Чердынцев мигрировал в 1920 году, получив известие о смерти отца в 1919 году: «Мы прождали его два лета, до зимы 19-го года. <...> Мы вошли в комнату, запомнившуюся мне почему-то совершенно жёлтою, и там старик с острой бородкой, в старом френче и длинных сапогах, без обиняков объявил мне, что, по сведениям, ещё не проверенным, моего отца нет больше в живых»<sup>2</sup>; и покидает Россию через полгода: «В течение полугода (до того, как дядя Олег почти насильно нас перевёз за границу) мы пытались узнать, как и где он погиб, да и погиб ли».<sup>3</sup>

Действие *Дара* начинается семь лет спустя, то есть в 1927 году: «Я выехал семь лет тому назад; чужая сторона утратила дух заграничности, как своя перестала быть географической привычкой. Год Семь»,<sup>4</sup> – говорит Фёдор в первой главе романа. А ещё точнее – первого апреля 1927 года («Облачным, но светлым днём, в исходе четвёртого часа, первого апреля 192... года...»<sup>5</sup>), когда герой романа и повествует о застрелившемся за два года до этого, то есть в 1925 году, Яше Чернышевском: «Сорокапятилетняя, некрасивая, сонная женщина [Александра Яковлевна Чернышевская. – А. Л.], потеряв два года тому назад единственного сына, вдруг проснулась...»<sup>6</sup>

Набоков противопоставляет «дурного европейца» Яшу, на которого идея декаданса Старого

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. С. 35.

<sup>2</sup> Там же. С. 122, 123.

<sup>3</sup> Там же. С. 123.

<sup>4</sup> Там же. С. 17.

<sup>5</sup> Там же. С. 5.

<sup>6</sup> Там же. С. 34.

Континента так легко оказала сокрушительное влияние, и «доброго европейца» ницшеанца Фёдора, для которого идея «заката Европы» есть прежде всего безвкусица. Яшина натура не по душе Набокову, и он обрекает его на самоубийство. Его уход из жизни сопровождается тем же самым западным ветром, который разбивает надежды на возвращение *сверхазиатского* героя Константина Годунова-Чердынцева. Западный ветер – образ, взятый у Ницше: Европа больна сократическим наследием, но и Азия европейцу закрыта – ведь он не излечил Европу от болезни: «*Врач, исцелись сам, и ты исцелишь также и больного*»,<sup>1</sup> скажет Заратустра. А потому дух этого разрушенного Запада, Запада-самоубийцы, сопровождает в *Даре* весть о смерти и о самоубийстве.

Ср. *Дар* про Яшу Чернышевского: «*После обеда в четверг, восемнадцатого, в восемнадцатую же годовщину смерти Олиного отца, они запаслись ставшим уже совсем толстым и самостоятельным револьвером и в лёгкую дырявую погоду (с влажным западным ветром и фиолетовой ржавчиной аютиных глазок во всех скверах) отправились на пятьдесят седьмом номере трамвая в Грюневальд, чтобы там, в глухом месте леса, один за другим застрелиться*».<sup>2</sup>

Ср. *Дар* про Фёдора и его отца: «*Бывает, что в течение долгого времени тебе обещается большая удача [Здесь – возвращение отца. – А. Л.] <...> но когда наконец, в очень будничном дне с западным ветром приходит известие, просто, мгновенно и окончательно уничтожающее всякую надежду на неё, то вдруг с удивлением понимаешь, что хоть и не верил, а всё время жил ею...*»<sup>3</sup>

Что касается самого Шпенглера, то Набоков неоднократно сводит счёты с этим «дурным европейцем» – пророком заката *избранного* (для всякого ницшеанца!) континента. Так Набоков поступает и в *Подвиге*, описывая Мартына Эдельвейса. Перед самой попыткой перехода границы Мартын

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 55.

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. С. 43.

<sup>3</sup> Там же. С. 79.

был готов к созиданию, у него появляется «голодный» взгляд и хватка поэта-ницшеанца, учащаются приступы «творческого» голода.<sup>1</sup> Глаз Мартына-художника замечает мельчайшие литературные детали: «Через несколько дней (уже в Латвии) Мартын нашел в русской газете новую бубновскую “новеллу”, на сей раз превосходную, и там у героя-немца был Мартынов галстук, бледно-серый в розовую полоску, который Бубнов, казавшийся столь поглощенным горем, украл, как очень ловкий вор, одной рукой вынимающий у человека часы, пока другой вытирает слезы»<sup>2</sup>. Уже наполняет Мартын свое перо («Зайдя в писчебумажную лавку, Мартын купил полдюжины открыток и наполнил свое обмелевшее автоматическое перо...»<sup>3</sup>), уже звучит в нем ритм пушкинского камертона («Быстро шелестел открытый таксомотор, пестрел кругом великолепный Тиргартен, и прекрасны были теплые, рыжие оттенки листвы, – “унылая пора, очей очарованье...”»<sup>4</sup>) и идя по осеннему Берлину Мартын ощущает происходящее в нем обострение чувств творца: «С самого начала этого необыкновенного дня все его чувства были заострены, – ему казалось, что он живет, чем когда-либо, цвета, запахи, звуки, – и автомобильные рожки, которые, бывало, в дождливые ночи терзали слух отвратительным хрюканьем, теперь звучали как-то отрешенно, мелодично и жалобно»<sup>5</sup>. Подготовка созидателя, не растратившего, а, наоборот, накопившего свои силы, завершена. Зверь загнан. Звучит рог. Можно выходить на – преопаснейшую! – охоту.

В конце *Подвига* Берлин предстаёт перед Мартыном, точно таким же, как и Фёдору в начале *Дара*. Фёдор как бы подхватывает эстафетную палочку оброненную несостоявшимся поэтом Мартыном, уничтоженным государством – идейным союзником Сократа. И в *Подвиге* Набоков противопоставляет Генриха Эдельвейса, с одной сторо-

<sup>1</sup> Набоков В. *Подвиг*. С. 280, 287.

<sup>2</sup> Там же. С. 289.

<sup>3</sup> Там же. С. 289.

<sup>4</sup> Там же. С. 282.

<sup>5</sup> Там же. С. 280–281.

ны, как «дурного европейца», констатирующего вместе со Шпенглером закат своего континента, но отказывающегося от борьбы, а с другой – «вызревающего», «чреватого надеждами» Мартына, которого разглагольствования *vili, ignobili, barbare ed indegne conversazioni* о закате Европы только раздражают: «А дядя Генрих, подкармливая своего чёрного звёрька, с ужасом говорил о закате Европы. <...> Иногда Мартына так раздражали подобные разговоры, что он был готов сказать дяде – и, увы, отчиму – грубость, но вовремя останавливался».<sup>1</sup>



Ницшеанский герой не только непрерывно враждует с приверженцами малой политики, но и передаёт своим детям чувство неприязни к недостойным европейцам. Уже «вобравший в себя дух Европы»<sup>2</sup> – изучивший её бабочек-психей, познавший душу Европы Константин Годунов-Чердынцев жаждет перейти в следующую стадию ницшеановского созидания – «сверхевропейскую». И тут маленькие людишки, эти сторонники «малой политики», наносят удар в спину созидателя, развязывают межевропейскую войну. Но ежели они разрывают на части Европу, то будет совершенно логично, если они нападут и на творца, для которого этот континент является отправной базой сверхевропейской экспансии: «Елизавету Павловну втянули в лазаретную работу, причём это освещалось так, что она, дескать, своей энергией возмещает праздность мужа, “больше занятого азиатскими козьяками, чем славой русского оружия”, как и было указано, между прочим, в одной бодрой газетке».<sup>3</sup>

Позже Набоков окружает Фёдора не только Яшами, безвредными призраками «дурных европейцев», но и «дурными европейцами», во плоти и крови. Равно как и его отец, Фёдор Годунов-Чердынцев испытывает на себе разлагающее действие всей пошлости «малой политики».

<sup>1</sup> Набоков В. *Подвиг*. Т. 2. С. 242.

<sup>2</sup> Friedrich Nietzsche, *Schriften und Entwürfe 1876–1880*, p. 386; цит. по: Ницше Ф. Собр. соч.: в 2 т. Т. 1. С. 23.

<sup>3</sup> Набоков В. *Дар*. С. 116.

Ненавидимый Зиной экс-прокурор Щёголев, антисемит и однофамилец советского учёного, соединяет в себе все нелюбимые Фёдором Годуновым-Чердынцевым черты. Совершенно логично, что помимо перечисленных выше фактов он почитает себя еще и знатоком межгосударственных конфликтов, чувствуя себя как дома в среде «малой политики»: *«Название стран и имена их главных представителей обращались у него вроде как в ярлыки на более или менее полных, но по существу одинаковых сосудах, содержание которых он переливал так и этак. Франция того-то боялась и потому никогда бы не допустила. Англия того-то добивалась»*.<sup>1</sup>

Подобный персонаж редко появляется в одиночку на страницах набоковских романов. Им нужна тень: *«Совсем страшно бывало, когда он попадал на другого такого же любителя политических прогнозов. Был, например, полковник Касаткин, приходивший иногда к обеду, и тогда сшибалась щёголевская Англия не с другой щёголевской страной, а с Англией касаткинской, такой же несуществующей, так что в каком-то смысле войны международные превращались в межусобные, хотя воюющие стороны находились на разных планах, никак не могущих соприкоснуться»*.<sup>2</sup>

«Дурной европеец» Набокова черпает свои познания в «малой политике» из ненавидимых Фридрихом Ницше газет (*«Разве не видишь ты, что души висят здесь, точно обвисшие, грязные лохмотья? – И они делают ещё газеты из этих лохмотьев! Разве не слышишь ты, что дух превратился здесь в игру слов? Отвратительные слова-помои извергает он! – И они делают ещё газеты из этих слов-помоев!»*),<sup>3</sup> то есть благодаря деятельности тех, кого ницшеанец Набоков называет платными болтунами: *«И Щёголев пошёл рассуждать о политике. Как многим бесплатным болтунам, ему казалось, что вычитанные им из газет сообщения болтунов платных складываются у него в стройную схему, следуя кото-*

<sup>1</sup> Набоков В. Дар. Т. 3. С. 143.

<sup>2</sup> Там же. С. 143.

<sup>3</sup> Там же. С. 126.



рой логический и трезвый ум (его ум, в данном случае) без труда может объяснить и предвидеть множество мировых событий».<sup>1</sup>

Одним из «платных болтунов» является Георгий Иванович Васильев, который, несмотря на свою честность («Председателем Правления был Георгий Иванович Васильев, да и всё предопределяло это: его досоветская известность, многолетняя редакторская деятельность, а главное – та непреклонная, почти грозная честность, которой имя его славилось...»<sup>2</sup>), всё-таки по уши погряз в мире «малой политики», недостойной ницшеановского героя. Поэтому механический манекен Васильев просто в силу своей природы «маленького человека» не может не руководствоваться ценностями, слишком уж удалёнными от идеала, дорогого каждому ницшеанцу: «Он [Фёдор Константинович. – А. Л.] <...> погружался, бывало, с содроганием и любопытством в просторные недра Васильева и на мгновение жил при помощи его, васильевского, внутреннего механизма, где рядом с кнопкой “Локарно” была кнопка “локаут”, и где в ложно умную, ложно занимательную игру вовлекались разнокалиберные символы: “пятёрка кремлёвских владык” или “восстание курдов” <...> это был мир вещей предсказаний, предчувствий, таинственных комбинаций, мир, который в сущности был во стократ прозрачней самой отвлечённой мечты».<sup>3</sup>

Европа Васильева и весь его мир не существуют. Подлинный же мир создаётся поэтом. И когда космос поэта вступает в контакт с миропорядком деятеля малой политики, то его внутренний мир проходит через внутренний мир поэта, как тень. Поэтому журналист Васильев относится к поэзии как к несерьёзной вещи: «Добродушно принимая стихи Фёдора Константиновича, Васильев помещал их не потому, что они ему нравились (он обыкновенно даже их не прочитывал), а потому, что ему было решительно всё равно, чем украшается неполитическая часть “Газеты”».<sup>4</sup> Когда

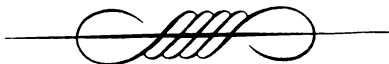
<sup>1</sup> Набоков В. Дар. С. 143.

<sup>2</sup> Там же. Т. 3. С. 283.

<sup>3</sup> Там же. С. 33–34.

<sup>4</sup> Там же. С. 57.

речь доходит до дела, Васильев проявляет всю свою натуру маленького сократического человека и открыто противостоит Фёдору Годунову-Чердынцеву. Васильев не только отказывается напечатать *Жизнь Чернышевского*, но даже пытается оказать давление на автора, убеждая его вообще не публиковать книгу: *«Никакой речи не может быть о том, чтобы я был причастен к её напечатанию. <...> Я знаю, что вы меня не слушаетесь, но всё-таки (и Васильев, поморщившись от боли, взялся за сердце) я как друг прошу вас, не пытайтесь издавать эту вещь, вы загубите свою литературную карьеру, помяните моё слово, от вас отвернутся»*.<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Набоков В. Дар. С. 187.



ПЛОСКОМАНИЯ ЕВРОПЫ :  
БОРЬБА ТВОРЦА  
С ПОСЛЕДНИМ  
ЧЕЛОВЕКОМ

«Ни один поганый универсалист с грошовым интеллектом и чёрствой душой не смог бы дать объяснение (и в этом заключается моя сладчайшая месть за несправедливое принижение труда всей моей жизни) раскрывающимся в этих и подобных обстоятельствах причудам индивидуума».

Владимир Набоков  
«Ада, или Страсть»







## ГЛАВА ПЕРВАЯ

# СТРАНА ПОСЛЕДНЕГО ЧЕЛОВЕКА И ЕЁ ОБИТАТЕЛИ

*В Вене, в Санкт-Петербурге, в Стокгольме, в Копенгагене, в Париже и Нью-Йорке – везде открыли меня: меня не открыли только в плоскомании Европы, в Германии...*

**Фридрих Ницше.** *Ессе Ното*

Я уже писал о влиянии Гиппократов на греческих мыслителей, например на Платона,<sup>1</sup> и о том, как труды врача с острова Кос вдохновили основателя Академии на создание образа философа как врачевателя. Упомянул я и о том, как внимательно обращается в своих работах Ницше<sup>2</sup> к Гиппократу и к Платону<sup>3</sup>, делает персидского пророка лекарем человечества, который в то же время отказывается врачевать души безнадежных больных, насквозь пропитанных сократической доктриной: «*Не надо желать быть врачом неизлечимых – так учит Заратустра*». <sup>4</sup> В *Ессе ното* терапевт и физиолог Ницше даёт советы созидателям, основываясь на собственном опыте. Он предписывает созидателю не только как надо правильно питаться, читать, как надо заниматься спортом и проч., но и указывает место, предпочтительное для обитания творца.

<sup>1</sup> См., например: «*Если должно в чем-то верить Асклепиаду Гиппократу, то даже природу тела нельзя постигнуть иным путем*» (Платон. *Федр*, в. 270 с // Собр. соч.: В 3 т. М., 1971. Т. 2. С. 210.

<sup>2</sup> Fridrich Nietzsche, *Morgenröthe*, in KSA 10, München, Duetscher Taschenbuch Verlag de Gruyter, 1988, t. 3, p. 151, а также Fridrich Nietzsche, *Nachgelassene Fragmente, Nachlass Juni-Juli 1885* in KSA 11, München, Duetscher Taschenbuch Verlag de Gruyter, 1988, t. 11, p. 554.

<sup>3</sup> См., например: Fridrich Nietzsche, KSA 11, München, Duetscher Taschenbuch Verlag de Gruyter, 1988, t. 1, p. 16, 72, 87, 91–93, 187, 327f., 411–414, 425, 468f., 542f., 619, 626, 630–632, 705, 730, 776, 788, 790, 809–812, 841, 843f., 870f. и т. д.

<sup>4</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 150.

Давая «врачебные» советы о необходимом для полноценного созидания, Ницше, как всегда, верен самому себе: философ не перестаёт устанавливать чёткие границы между понятиями диаметрально противоположными, враждебными друг другу. Смешивать их созидателю нельзя, ибо подобное чревато самыми ужасными последствиями. И в который раз Ницше, разделяет «доброе»<sup>1</sup> и «дурное»,<sup>2</sup> «аристократическое»<sup>3</sup> и «плебейское».<sup>4</sup>

Выбор «добрый» земли, где должен жить творец, очевиден: помимо редчайших высокогорных исключений вроде Сильс-Марии, «аристократическим» является для него Средиземноморье, в частности Италия, а «плебейской», естественно, Германия: *«Предположим, я выхожу из своего дома и нахожусь перед собою вместо спокойного аристократического Турина немецкий городишко: мой инстинкт должен был насторожиться, чтобы отстранить всё, что хлынуло бы на него из этого плоского и трусливого мира. Или мне предстал бы немецкий город, этот застроенный порок, где ничего не произрастает, куда всё, хорошее и дурное, втаскивается извне»*.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> «То были, скорее, сами “добрые”, т. н. знатные, могущественные, высокопоставленные и возвышенно настроенные, кто воспринимал и оценивал себя и свои деяния как хорошие, как нечто первосортное, в противоположность всему низкому, низменно настроенному, пошлому и плебейскому» (Ницше Ф. К генеалогии морали. Там же. С. 416).

<sup>2</sup> «Не тот, кто причиняет нам вред, а только тот, кто возбуждает презрение, считается дурным. В общине “хороших” добро наследуется; дурной не может вырасти из столь хорошей почвы» (Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. Там же. С. 270).

<sup>3</sup> «...в хорошей и здоровой аристократии существенно то, что она чувствует себя не функцией (все равно, королевской власти или общества), а смыслом и высшим оправданием существующего строя – что оно поэтому со спокойной совестью принимает жертвы огромного количества людей, которые должны быть подавлены и принижены ради нее до степени людей неполных, до степени рабов и орудий» (Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Там же. С. 380).

<sup>4</sup> «Красноречивейшим примером последнего служит само немецкое слово *schlecht* (плохой), тождественное с *schlicht* (простой) – сравни *schlichtweg* (запросто), *schlechterdings* (просто-напросто) – и обозначавшее поначалу простого человека, простолыдина, покуда без какого-либо подозрительно косящего смысла, всего лишь как противоположность знатному» (Ницше Ф. К генеалогии морали. Там же. С. 418).

<sup>5</sup> Ницше Ф. *Ессе homo*. Там же. Т. 2. С. 717–718.

Набоков создаёт ещё один важный собирательный образ недругов Заратустры – немцев. Волею сводни-судьбы, Набоков был вынужден в течение полутора десятков лет жить в Германии, находиться в беспрестанном контакте с населением этой страны, а это уже есть неприятность не из малых. И всё-таки, ницшеанец Набоков использует именно произведения Ницше, как базу для выражения собственного неприятия Неметчины.

Тема Германии как нездоровой местности разрабатывается Набоковым в *Даре*, и несомненно, писатель подходит к этому не просто как адепт философии Ницше, но отсылает и к биографии, и к истории болезни Ницше, – последняя чрезвычайно знаменита из-за попыток её искажения и многочисленных спекуляций.<sup>1</sup>

Германия *Дара* предстаёт нам как страна головной боли. Именно с головной болью сравнивает Германию Фёдор Годунов-Чердынцев в письме матери: «Вообще, я бы завтра же бросил эту тяжкую, как головная боль, страну...»<sup>2</sup> Таким образом, Неметчина становится олицетворением мести поэту Фёдору, как мигрень Ницше была реваншем природы за блестящий триумф воли.

Вот как это происходит: я уже писал о противопоставлении Набоковым процесса труда сократического учёного Чернышевского, работающего безучастно, как машина, и никогда не испытывающего головных болей,<sup>3</sup> и с другой стороны, творчества философа-поэта Ницше, мучимого постоянной головной болью, которую он характеризует

<sup>1</sup> Во время болезни Фридриха Ницше Ю. Лангбеном была предпринята попытка излечения философа созданием бутафорского королевского двора, где Ницше должен был быть королём. См.: Свасьян К. А. *Фридрих Ницше: мученик познания* // Фридрих Ницше. Соч. в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 36–37. Скандальность болезни Ницше была усилена появлением ещё одной «разумной» диссертации, в которой утверждалось, что причиной сумасшествия был сифилис, которым Ницше якобы заразился в одном из публичных домов.

<sup>2</sup> <sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Там же. С. 315.

<sup>3</sup> «[Чернышевский. – А. Л.] Работал лихорадочно, так много курил, так мало спал, что впечатление производил страшноватое: тощий, нервный, взгляд зараз слепой и сверлящий, отрывистая, рассеянная речь, руки трясутся (зато никогда не страдал головной болью и наивно гордился этим, как признаком здорового ума)» (Набоков В. *Дар*. С. 223).



как мечь природы творцу-мудрецу, проникшему в её тайны: *«Есть нечто, что называю я гапсипе великого: всё великое, всякое творение, всякое дело, однажды содеянное, непременно обращается против того, кто его содеял. Именно потому, что он его содеял, он слаб теперь, он не выдерживает больше своего дела, он не смотрит больше ему в лицо»*.<sup>1</sup>

Тот же смысл, по мнению Ницше, заключен в мифе о Эдипе. Природа мстит царю за дерзкое проникновение под завесу её сокровеннейших тайн: *«Мало того, миф [об Эдипе. – А. Л.] как бы таинственно шепчет нам, что мудрость, и именно дионисическая мудрость, есть противоестественная скверна, что тот, кто своим знанием низвергает природу в бездну уничтожения, на себе испытывает это разложение природы»*.<sup>2</sup>

К слову сказать, Эдип, познавший сверхтайну, получает беспредельную власть над миром. Эта власть чрезмерна и невыносимо тяжка для смертного. Этим обстоятельством я и объясняю название трагедии Софокла: Эдип – не просто фиванский βασιλευς!, он *τραυος* мира: природы, царства Аида, Олимпа, а впридачу – и Муз, живущих в сеньях божественного чертога. *Οιδίπov τραυνος* – *Эдип тиран* (а не *Царь Эдип*) – именно так называет Софокл свою трагедию.



Обратимся же теперь к определению образа «сад» у Ницше. Для Ницше философ ещё и охотник: *«Что за пляс одурелый, точно буйан; я охотник – решай, кто мне ты: ловчий пёс или лань?»*,<sup>3</sup> и это не случайно. Подлинному философу необходимо, подобно охотнику, подняться до восхода солнца, слушая храп лежебок-функционаров от науки, выбрать оружие, углубиться в чрева-

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Ессе готю*. Там же. Т. 2. С. 748.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 90.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 164.

тую смертью чащу, выследить дикого зверя, но не просто какого-нибудь зверя, а только того, чьё мясо по нраву именно ему. Философу надо убить зверя, выжив в схватке, и, подобно охотнику Одиссею,<sup>1</sup> принести его мясо своим достойным, т. е. «хорошо родившимся» спутникам. Так поступают подлинные философы, в отличие от миллиардов, довольствующихся замороженным мясом скота, замученного в стойлах.

Сад, для Ницше, есть ещё и синоним «мира» – места, где описанный выше философ-охотник находит отдохновение. «...*Мир похож <...> на сад для услады всех диких охотников...*»<sup>2</sup> – говорит Заратустра.

Это вступление было необходимо, чтобы постепенно подойти к разбору образа «сада» у Набокова. «Сад» – это одно из предположительных объяснений названия романа. «Дар» – это рай, куда попадает созидающий герой. Ведь русское слово «рай» происходит от древнеиндийского «*rayis*», переводящегося на русский как «дар». А древнеиндийские, или, точнее, *арийские языки* – необходимейший гуманитарный багаж каждого последователя Ницше,<sup>3</sup> завещанный последнему его воспитателем Шопенгауэром.<sup>4</sup> Что же касается интереса, который ницшеанец Набоков проявлял к Индии со времён своего первого романа *Машенька*, то это уже давно отмечалось набоковедями. Германия же *Дара* – прямая противоположность «сада». Это отнюдь не рай, и даже не место отдохновения созидателя-ницшеанца, но страна, где голоса мертвецов продают землю садов: «*Со двора по утрам раздавалось – тонко и сдержанно-певуче: “Prima Kartoffel!” – как трепещет сердце*

<sup>1</sup> См.: Гомер. *Одиссея*. X, в. 157–184. Там же. С. 126.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 171.

<sup>3</sup> Ницше не раз пишет, и не только о самом себе, вкрапленные санскритские слова в немецкий текст: «*Трудно быть понятным: особенно если мыслишь и живёшь *gangastrogotati* среди людей, которые все поголовно иначе мыслят и живут, именно, *kitmagati* или в лучшем случае “аллюром лягушки”, *tapdeigati*, – не делаю ли я всё для того, чтобы меня самого “понимали с трудом”!*» (Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла*. Там же. Т. 2. С. 263).

<sup>4</sup> См.: Шопенгауэр А. Кое-что о санскритской литературе// *Paralipomena*. С. 306–311.

молодого овоща! – или же замогильный бас возглашал: “*Blumen Erde*”».<sup>1</sup>

В другой раз герой по необходимости попадает в подлинно немецкий сад – сад больных и умирающих душ; и «жирные» клумбы этого сада окружают дом для душевнобольных: «[Фёдор Константинович. – А. Л.] шёл через могильно-роскошный сад, мимо жирных клумб, где в блаженном упоении цвели басисто-багряные георгины, по направлению к скамейке, где его ждала Чернышевская...»<sup>2</sup>



Фридрих Ницше покидает Германию не столько для преподавания в Базеле, но и потому, что считает, что его родина не нуждается ни в Ницше-филологе, ни в Ницше-философе. Вот что впоследствии напишет он в *Ессе homo*: «*В Вене, в Санкт-Петербурге, в Стокгольме, в Копенгагене, в Париже и Нью-Йорке – везде открыли меня: меня не открыли только в плосковании Европы, в Германии...*»<sup>3</sup>

Существование свободного, счастливого и нищего эмигранта сладостно, но в то же время и мучительно именно по причине невозможности смириться с необходимостью жить бок о бок с населением пивоваренных немецких городков, которое у Набокова порой напрочь теряет человеческий облик и обретает демонические черты, змеей сжимающая свои кольца вокруг одинокого русского беженца, вызывая у него постоянные приступы ксенофобии.

Проживающий в Берлине герой *Дара*, изгнанник Фёдор Годунов-Чердынцев, недолюбливает

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 54.

<sup>2</sup> Там же. С. 83.

<sup>3</sup> Friedrich Nietzsche, *Ecce Homo* in KSA 6, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1989, p. 301. «*In Wien, in St. Petersburg, in Stockholm, in Kopenhagen, in Paris und New-York – überall bin ich entdeckt: ich bin es nicht in Europa's Flachland Deutschland...*». Ницше Ф. *Ессе Homo*. Там же. Т. 2. С. 723. Курсив Фридриха Ницше.

автохтонов, равно как и сам автор романа, который «за пятнадцать лет жизни в Германии <...> не познакомился близко ни с одним немцем».<sup>1</sup>

«В малом количестве немец пошел, а в большом – пошел нестерпимо»<sup>2</sup> – это «русское убеждение»<sup>3</sup> Фёдора Годунова-Чердынцева является как бы парафразой слов Фридриха Ницше: «У немцев отсутствует всякое понятие о том, насколько они пошлы, и что это и есть суперлатив пошлости: они не стыдятся даже быть только немцами».<sup>4</sup>

Да и телосложение немцев также не по душе молодому ницшеанцу Фёдору: «...он [Фёдор Константинович. – А. Л.] <...> отчётливо знал, за что ненавидит его [предполагаемого немца. – А. Л.]: за этот низкий лоб, за эти бледные глаза <...> за толщину задов у обоего пола, – даже если в остальной своей части субъект и не толст».<sup>5</sup>

Эта фраза отсылает не только к Фридриху Ницше, но и к высоко ценимому автором Дара Николаю Гоголю, что, во-первых, даёт ещё один пример синтеза русской и немецкой литературы, произведённого Набоковым, а во-вторых, заставляет вспомнить мнение Андрея Белого,<sup>6</sup> писавшего, что лишь Гоголь был бы способен передать по-русски немецкий язык Ницше.

Вспомним, как неприятно удивило телосложение немцев гоголевского итальянского князя, направляющегося в Париж: «В немецких городах несколько поразил его странный склад тела немцев, лишённый стройного согласия красоты, чувство которой зарождено уже в душе итальянца».<sup>7</sup> Отражающая духовный мир телесная конституция немцев не оставляет спокойным и Фридриха Ницше. Вот что пишет Ницше о своих бывших согражданах: «Я не выношу этой расы <...> у которой нет пальцев для pianos – горе мне! я есть pianse, – у которой нет esprit в ногах и которая

<sup>1</sup> Набоков В. *Другие берега*. Т. 4. С. 284.

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 73.

<sup>3</sup> Там же. С. 73.

<sup>4</sup> Ницше Ф. *Эссе Ното*. Там же. Т. 2. С. 761.

<sup>5</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 73.

<sup>6</sup> Белый А. *Мастерство Гоголя*. М., 1934. С. 227.

<sup>7</sup> Гоголь Н. *Рим*. Собр. соч.: В 5 т. М., 1960. Т. 3. С. 271.

даже не умеет ходить... У немцев, в конце концов, вовсе нет ступней, у них только ноги...»<sup>1</sup>

Фридрих Ницше не терпел грубости и вульгарности немцев. И в *Заратустре* Ницше саркастически парафразирует мысль «чародея» Вагнера о происхождении названия немецкой нации:

*«По-немецки и ясно? Боже упаси! – сказал тут король слева в сторону; заметно, он не знает милых немцев, этот мудрец с востока!*

*Он хочет сказать “по-немецки и грубо”<sup>2</sup> – что ж! По нынешним временам это ещё не худший вкус!»<sup>3</sup>*

Позднее, возвращаясь мыслями к Вагнеру (видно, «аэр» Байрейтских фестивалей надолго подпортил лёгкие Ницше), философ доходит в своем презрении до сравнения немцев со свиньями: *«Бедный Вагнер! Куда он попал! – Если бы он попал ещё к свиньям! А то к немцам!»<sup>4</sup>*

Ницшеанец Набоков следует своему учителю и неоднократно наделяет немцев хлестким эпитетом «хамы».<sup>5</sup> И трудно найти более лучшее, я бы сказал, вечное обозначение пошлой вульгарности, неслучайно подобранное русским народом, чем ставшее нарицательным имя Ноева сына.<sup>6</sup> А потому Фёдор Годунов-Чердынцев всячески отделяет себя доброй ницшевской «границей» от немецкого хамства, и снисходит до общения с ними –

<sup>1</sup> Friedrich Nietzsche. *Ecce Homo*. P. 362: *«Ich halte diese Rasse nicht aus, (...) die keine Finger für nuances hat – wehe mir! Ich bin eine nuance –, die keinen esprit in den Füßen hat und nicht einmal gehen kann ... Die Deutschen haben zuletzt gar keine Füße, sie haben bloss Beine ...»*. Ницше Ф. *Ecce Homo*. Там же. Т. 2. С. 761.

<sup>2</sup> В подлиннике непередаваемая игра слов: «deutsch und deutlich». Ницше пародирует здесь следующий отрывок из статьи Вагнера «Что такое немецкое?», напечатанной в февральской за 1878 г. тетради «Байрейтских листков»: «Слово “немецкий” (*deutsch*) обретает себя в глаголе “разъяснять” (*deuten*): сообразно этому, “немецкое” (*deutsch*) есть то, что нам ясно (*deutlich*)». См.: Свасьян К. А. *Примечания*. Ницше Ф. Там же. Т. 2. С. 776.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 203.

<sup>4</sup> Ницше Ф. *Ecce Homo*. Там же. Т. 2. С. 737.

<sup>5</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 73.

<sup>6</sup> *«И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и рассказал двум братьям своим вне шатра»* (Библия, *Ветхий Завет, Второзаконие*, гл. 9, 22, Берлин, Издание Британского и Иностранного Библейского Общества, 1922. С. 8).

да и то под маской! – лишь ради того, чтобы провести вечер со своей возлюбленной: «Он [Фёдор Константинович. – А. Л.] добросовестно представил себе её с голой нежной спиной и голубоватыми руками, – тут же контрабандой проскользнули чужие возбуждённые хари, хамская дребедень громкого немецкого веселья, обожгли пишевод поганые спиртные напитки, отпрыгнулось крошечным яйцом бутербродов, – но он опять сосредоточил вращающуюся под музыку мысль на её прозрачном виске».<sup>1</sup> Хамами, по мнению Набокова, немцы были и в стародавние времена, когда: «...лес <...> простирался до самого сердца теперешнего города, и рыскало по его дебрям громкое княжеское хамьё, с рогатками, псами, загонщиками».<sup>2</sup>

«...Немцы и есть *capaille* – ах! они так добродушны»,<sup>3</sup> – пишет Ницше и следом – «общение с немцами унижает». Поэт Фёдор чувствует фальшь «славного» добродушия немцев, которое с трудом скрывает их пошлость и без труда перерастает в агрессивность толпы, так умело использованную впоследствии немецкими национал-социалистами: «...безнадёжная безбожная тупость довольных лиц, возня, гогот, плеск – всё это сливалось в апофеоз того славного немецкого добродушия, которое с такой естественной лёгкостью может в любую минуту обернуться бешеным улюлюканьем».<sup>4</sup>



Предполагаемый «немец», на которого Фёдор Годунов-Чердынцев обращает всю свою ненависть в берлинском трамвае, является мишенью ещё одного обвинения – в излишней меркантильности: «...если прислушаться, что у него [предполагаемого немца. – А. Л.] говорится внутри (или к любому разговору на улице), неизбежно услышишь цифры, деньги...»<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Набоков В. Дар. Т. 3. С. 185.

<sup>2</sup> Там же. Т. 3. С. 296.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Эссе Ното*. Там же. Т. 2. С. 761.

<sup>4</sup> Набоков В. Дар. Т. 3. С. 302.

<sup>5</sup> Там же. С. 73.

Таким образом, Набоков, вынужденно живущий среди немцев, чувствует то же самое, что ощущал и Фридрих Ницше. Заратустра высказывает сожаление философа об этой эпохе перманентного контакта с помышляющими лишь о наживе людьми: *«Среди народов жил я, иноязычный, заткнув уши, чтобы их язык барышничества и их торговля из-за власти оставались мне чуждыми»*.<sup>1</sup>

Так кто же может быть избавлен от влияния меркантильной среды, охваченной жадной наживы, как не ребёнок?! Тот самый ребёнок, образ которого так дорог всякому ницшеанцу, ведь и Заратустра заявляет о ребёнке как о символе духовного, т. е. избранного совершенства:

*«Почему хищный лев должен стать ещё ребёнком?»*

*Дитя есть невинность и забвение, новое начинание, игра, самокатящееся колесо, начальное движение, святое слово утверждения. <...> Три превращения духа назвал я вам: как дух стал верблюдом, львом верблюд и, наконец, лев ребёнком»*.<sup>2</sup>

Да и сам перс почитает свою мудрость настолько невинной, гибкой и чреватой неизведанным и великим, что славит своё мудрое ребячество в своём обращении к высшим людям: *«Но теперь предоставьте мне эту детскую комнату, мою собственную пещеру, где сегодня было столько ребячества. Остудите на воздухе ваш горячий детский задор и биение ваших сердец»*.<sup>3</sup>

Задолго до написания этого труда Ницше говорит о «ребёнке», являющемся для него некоей лакмусовой бумагой для выявления невиннейшего (а следовательно, и глубочайшего) состояния, в котором человек способен воспринимать трагедию, противодействуя многовековому наследию единственно «разумной», – убийственно «разумной» – александрийской культуры: *«Кто хочет в точности испытать себя, насколько он родствен действительно эстетическому слушателю или принадлежит к сообществу сократически-кри-*

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 69.

<sup>2</sup> Там же. С. 19.

<sup>3</sup> Там же. С. 228.

тических людей, тот пусть искренно спросит себя о чувстве, с каким он встречает изображаемое на сцене чудо: оскорблено ли при этом его историческое чувство, направленное на строго психологическую причинность, допускает ли он это чудо в виде доброжелательной уступки, как понятный детскому возрасту, но ему чуждый феномен, или его чувства носят при этом какой-нибудь другой характер».<sup>1</sup>

Набоков нередко воспроизводит образ русского ребёнка, подвергшегося влиянию немецкой пошлой и, следовательно, меркантильной среды, что в контексте приведённых выше цитат Ницше не может не стать самой жесткой критикой Германии. Например, воспитанники главного героя *Соглядатая* – русского происхождения. Но они настолько «онемечены», что их помыслы только о деньгах, и автор неоднократно подчёркивает обуравляющую их жажду поистине германской скарденности: «...у них было, у этих мальчишек, странное, недетское тяготение к экономности, гнусная какая-то хозяйственность, они в точности знали, сколько стоит колбаса, масло, свет, различные породы автомобилей...»,<sup>2</sup> и ниже: «На самом же деле они, по-видимому, не всё время присутствовали при моей казни, была какая-то минута, когда, боясь за родительскую мебель, они деловито принялись звонить в полицию, – попытка, сразу пресечённая громовым окриком...»<sup>3</sup>

Подобный персонаж встречается и на страницах *Дара*. Вот как Набоков описывает одного из учеников Фёдора Годунова-Чердынцева, чрезвычайно германизированного русского мальчика: «Учась в берлинской гимназии, бедняга настолько пропитался местным бытом, что и в английской речи делал те же невытравимые ошибки, которые сделал бы кегельноголовый немец».<sup>4</sup>

После того как Набоков представил читателю степень онемеченности персонажа, он уже не может не наградить его другими, заклеяемыми

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 148. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>2</sup> Набоков В. *Соглядатая*. Т. 2. С. 301.

<sup>3</sup> Там же. Т. 2. С. 304.

<sup>4</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 143–144.



Фридрихом Ницше качествами немецкого характера. Берлинский школьник русского происхождения напрочь лишён чувства юмора, детской непринуждённости, т. е. даже в детском возрасте он уже далеко не «ребёнок», – не идеальный зритель (и участник!<sup>1</sup>) трагедии, – и, конечно же, мечтает исключительно о том, чтобы разбогатеть: «Он был самодоволен, рассудителен, туп и по-немецки невежественен, т. е. относился ко всему, чего не знал, скептически. Твёрдо считая, что смешная сторона вещей давным-давно разработана там, где ей и полагается быть – на последней странице берлинского иллюстрированного еженедельника, – он никогда не смеялся – разве только снисходительно хмыкал. Единственное, что ещё мало-мальски могло его развеселить, это рассказ о какой-нибудь остроумной денежной операции. Вся философия жизни сократилась у него до простейшего положения: бедный несчастлив, богатый счастлив. Это узаконенное счастье игриво складывалось, под аккомпанемент первоклассной танцевальной музыки, из различных предметов технической роскоши. На урок он норовил прийти всегда на несколько минут раньше и старался уйти на столько же позже».<sup>2</sup>

Длина приведённой выше цитаты даёт возможность заключить, что этот персонаж, юный берлинец русского происхождения, весьма немаловажен для ницшеанца Набокова, которому не терпится свести счёты с немцами, перечислив все отвратительные последствия германского влияния. Станным образом, все эти последствия схожи с последствиями сократической культуры, описанными Ницше: утрированная серьёзность,

---

<sup>1</sup> «Позднейший состав хора трагедии есть искусственное подражание этому естественному феномену; при этом, конечно, стало необходимым отделение дионисических зрителей от зачарованных Дионисом. Но только при этом нужно всегда иметь в виду, что публика аттической трагедии узнавала себя в хоре оркестры, что в сущности никакой противоположности между публикой и хором не было, ибо всё являло собой лишь один большой величественный хор пляшущих и поющих сатиров или людей, которых представляли эти сатиры» (Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 84).

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 144.

важность, духовное ожирение, технический прогресс (как некая ипостась прогресса социального), меркантильный дух и проч.

Хотелось бы привлечь внимание читательницы к факту употребления Набоковым по отношению к «онемеченному» школьнику глагола «сократиться». Не сочтите это за профессиональный снобизм набоковеда, но здесь невозможно отринуть «нюансированное» видение текста и не отметить вновь уже однажды произведённый отсыл Набокова к Сократу. И для этого отсыла к афинскому диалектику Набоков пользовался именно глаголом «сократиться». Так происходит в *Приглашении на казнь* и так же – во время работы над четвёртой главой *Дара*:<sup>1</sup> «Напоминаю также, что сегодня вечером идёт с громадным успехом злободневности опера-фарс “Сократись, Сократик”».<sup>2</sup>



Набоков мог знать помимо джойсовской версии о семитско-финикийском происхождении гомеровской эпосеи и о противопоставлении, делаемом Фридрихом Ницше между чуткими евреями, способными понять *niapses* и его философию, и бесчувственными к ней немцами.<sup>3</sup> Из этого Ницше делал вывод о превосходстве евреев и видел залог улучшения немецкой нации в смешении немецкой элиты с евреями: «Очевидно, что еще более опаснее было бы теснее сблизиться с ними [евреями. – А. Л.] более сильным и уже более прочно установившимся типам новой Германии, скажем знатному бранденбургскому офицеру: было бы во

<sup>1</sup> Boyd V. *Vladimir Nabokov. The Russian years*, London, Chatto and Windus, 1990, p. 416 – 417.

<sup>2</sup> Набоков В. *Приглашение на казнь*. Т. 4. С. 128.

<sup>3</sup> «Мне рассказывали о молодом математике в Понтре-сине, который от волнения и восторга перед моей последней книгой [Так говорил Заратустра – А. Л.] полностью потерял ночной покой; стоило лишь мне спросить подробнее, и вот же, снова это был еврей (немец не даст с такой легкостью лишиться себя сна)». Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Briefe Kritische Studienausgabe, Januar 1885–Dezember 1886*, “An Franziska Nietzsche in Naumburg (Fragment) (Sils-Maria, 19. Sept. 1886)”, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, de Gruyter, 1986, Band 7, p. 249–250 (перевод автора).

многих отношениях интересно посмотреть, не приобщится ли, не привьется ли к наследственному искусству повеления и повиновения – в обеих упомянутая провинция может считаться нынче классической – гений денег и терпения (и прежде всего некоторое количество ума, в чем там чувствуется изрядный недостаток).<sup>1</sup>

Более того, даже на личном уровне философ предпочитает общаться не с немцами, а с евреями: «Напрасно я ищу хотя бы одного признака такта, *délicatesse* в отношении меня. Евреи давали их мне, немцы – никогда».<sup>2</sup> Всё это, конечно, делает смехотворным желание использовать в своих целях философию Ницше немецкими идеологами национал-социализма, – но такова уж сущность всякого проявления сократической мысли: она насилует и извращает все *добрые* вещи, которые, ластясь, сами приходят к набегавшимся по горам поэтам.

Набоков работал над *Даром* с 1934 по 1938 г. – четвёртая глава написана в 1934 году,<sup>3</sup> остальные главы с 1937 по 1938 год.<sup>4</sup> Следовательно, в процессе работы над романом он уже превосходно знал, что немецкие национал-социалисты, которые получили большинство голосов на демократических выборах 1933 года, узурпировали и извратили доктрину Ницше.<sup>5</sup> Они не только не следовали советам философа о метисации немцев с евреями, но изгоняли и физически уничтожали евреев как нацию. Самая жесткая набоковская критика Германии – это описание наиболее противоестественного влияния германского «аэра»,<sup>6</sup> а именно – онемечивания евреев. В *Даре* они представлены в

<sup>1</sup> Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла*. Там же. С. 370.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Ессе Ното*. Там же. Т. 2. С. 761.

<sup>3</sup> Boyd V. *Vladimir Nabokov. The Russian years*, London, Chatto and Windus, 1990, p. 416–417.

<sup>4</sup> Ibid, p. 416–417.

<sup>5</sup> Альфред Шулер, предлагавший экстравагантный способ излечения Ницше оказал немалое влияние на самого Адольфа Гитлера, слушавшего его лекции в 1922 году, а осенью 1934 года предводитель немецких социалистов посетил архив Фридриха Ницше, где и произошла достаточно комичная встреча Гитлера и 90-летней Элизabet Фёрстер-Ницше. См.: Свасьян К. А. *Фридрих Ницше: мученик познания*. Ницше Ф. Там же. Т. 1. С. 37, 41.

<sup>6</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 169.

лице шефа Зины Мерц: «... её шеф был еврей, — немецкий, впрочем, еврей, т. е. прежде всего — немец...»<sup>1</sup>

Набоков не был бы писателем ницшеанцем, если бы, как и его воспитатель, не провёл границу, отделяющую непримиримых врагов: этих опошлившихся, онемеченных евреев и других евреев, близких ницшеановскому герою: «Презирала она [Зина Мерц, — А. Л.] свою службу <...> не стеснялась при Фёдоре его [шефа. — А. Л.] поносить».<sup>2</sup>



Ницшеанский творец Набокова стремится к сверхчеловеческому идеалу, следовательно, он человек цельный, «четырёхугольный». В противоположность ему, «последние люди» у Набокова представляют собой, как я уже отметил, не более чем осколки человека. Не потому ли во владениях онемеченных евреев — этих осколков человека с обрезанной крайней плотью — обитают те же самые калеки-горбуны из *Заратустры*, только на сей раз женского пола: («У окон располагались четыре машинистки: одна горбунья, жалованье тратившая на платья...»<sup>3</sup>), либо «калеки наизнанку», как, например, эта сдобная блондинка, считающая работу в канцелярии духовным трудом и которой квартира заменяет душу: «...замужняя — сдобная блондинка, с отражением собственной квартиры вместо души, трогательно рассказывавшая, как после дня духовного труда, чувствует такую потребность отдохнуть на труде физическом, что, придя вечером домой, растворяет все окна и принимается с упоением стирать».<sup>4</sup>

Вот Набоков представляет заведующего этой конторой: «...толстое, грубое животное, с вонючими ногами и вечно сочившимся фурункулом на за-

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Там же. С. 169.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же. С. 170.

<sup>4</sup> Там же. С. 170. Разрядка Набокова.

тылке...».<sup>1</sup> Находящийся в перманентном общении, с описанным выше вонючим животным, онемеченный еврей Траум также лишается Набоковым человеческих черт: «...он [Траум. – А. Л.] не чувствовал щелчков – кожа у него была, как броня у некоторых насекомых».<sup>2</sup>



Действительно, не легко найти область, в которой бы Набоков великодушно простил немцам их пошлость. Вот ещё пример описанного Набоковым немецкого несовершенства: в поистине «ницшеановской» *Книге пророка Иезекииля* радуга предупреждает о приближении Бога: «В каком виде бывает явление радуги на облаках во время дождя, таков был вид этого сияния славы Господней. Видя это, я пал на лице своё и слышал глас Главолаваго».<sup>3</sup> И Фридриху Ницше несомненно были по нраву свидетельства о некоторых художественных вкусах ещё не умершего Бога. А потому философ воспроизводит в *Заратустре* эскиз артиста Элойхима; радуга становится предвестницей, только не Бога, но *сверхчеловека*.<sup>4</sup> Поэтому в романах Набокова ницшеановских героев окружает целая гамма цветов. В *Даре* радуга служит воспоминанием изгнаннику Фёдору об отце, когда-то вступившем («редчайший случай!», не может не воскликнуть ницшеанец Набоков) внутрь радуги во время одного из своих сверхевропейских походов: «Отец однажды, в Ордесе, поднимаясь после грозы на холм, ненароком вошёл в основу радуги, – редчайший случай! – и очутился в цветном воздухе, в играющем огне, будто в раю [не отсюда ли

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 170.

<sup>2</sup> Там же. С. 171.

<sup>3</sup> Библия, *Ветхий Завет, Книга пророка Иезекииля*, гл. 1, 28, Берлин, Издание Британского и Иностранного Библейского Общества, 1922, с. 751.

<sup>4</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 72. Курсив Фридриха Ницше. Антоновский переводит *ein Regenbogen* Фридриха Ницше как *радужное небо*. Но *der Regenbogen* – означает не более чем *радуга*. См.: Friedrich Nietzsche, *Also sprach Zarathustra*, München, Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter, 1988, p. 128.

«Дар»? ещё раз спрашивает автор этой книги, но не настаивает, так как ниже он даст другое предположение о происхождении названия романа)].<sup>1</sup>

Поэт Фёдор Годунов-Чердынцев тоже обладал цветным зрением, охарактеризованным его собратом по перу, Кончеевым, как «*Buchstaben von Feuer*»<sup>2</sup> – факт употребления немецкого выражения в русском тексте также немаловажен, он подчёркивает исключение, делаемое Набоковым: когда речь идёт об отсыле к Ницше, можно писать и на языке философа, даже если это и язык презираемого народа.

Что же касается немцев *Дара*, то у них, наоборот, слабовато с цветным воображением – из семи цветов небесного лука они могут воспроизвести лишь два, да и то пошленьких, немецких: «*Фёдор Константинович сел между Шахматовым и Владимировым, около широкого окна, за которым мокро чернела блестящая ночь, со световыми рекламными двух оттенков (на большее число не хватило берлинского воображения), озонно-лазурного и портвейно-красного...*»<sup>3</sup>

Когда же у Набокова заходит речь о самой радуге «*Made in Germany*», то даже она теряет присутствующую ей неземную яркость, что происходит не без участия высококачественного немецкого стирального порошка: «*...прощальное сочетание деревьев, стоявших как провожающие и уже уносимых прочь, полинявший в стирке клочок радуги...*»<sup>4</sup>

Ты помнишь, читательница, что, согласно Ницше, идеальная женщина – лишь та, которая рождена стать спутницей созидателя. «*Мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина – для отдохновения война; всё остальное – глупость*»,<sup>5</sup> – издевательски бросает персидский пророк, дабы позлить мягкотелых и забывчивых наследников эллинской культуры.

Спутница созидателя обязана, по определению, быть женственной. «*Горе, если только “вечно-*

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 70.

<sup>2</sup> Там же. С. 68.

<sup>3</sup> Там же. С. 287.

<sup>4</sup> Там же. С. 72.

<sup>5</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 47.

сучное в женщине” – а она богата им! – осмелится выйти наружу! Если она начнет принципиально и основательно забывать свое благоразумие и искусство, умение быть грациозной, игривой, отгонять заботы, доставлять облегчение и самой легко относиться ко всему, – если она основательно утратит свою тонкую приспособляемость к приятным вожделениям!»<sup>1</sup> В Даре немецкие женщины, несмотря на многообещающие «творительнопонадежные» фамилии, (фрау Egda, она же Clara Stoboy<sup>2</sup>) – так же несовершенны от природы. И именно женственности лишает ихницшеанский автор: «Он [Фёдор. – А. Л.] вынес вещи, пошёл проститься с хозяйкой, в первый и последний раз пожал её руку, оказавшуюся сухой, сильной, холодной, отдал ей ключи и вышел».<sup>3</sup>

Немецкая женщина не может не быть мужеподобной, ибо она живёт в стране «последних людей», то есть там, где мужчины лишены мужественности: «Качества мужа здесь редки; поэтому их женщины становятся мужчинами. Ибо только тот, кто достаточно мужчина, освободит в женщине женщину».<sup>4</sup>

В определённый момент ненависть Набокова к немцам достигает своего апогея. Автору уже недостаточно делать из них чудовищ, неприятных животных, мужеподобных женщин, уродов; Набоков просто отнимает у них телесность, превращая немцев в закатные тени, которые проходят перед Фёдором, как тени царства Аида перед любознательным шпионом Одиссеем: «...тут, на немецкой улице, блуждал призрак русского бульвара, или даже наоборот: улица в России, несколько прохлаждающихся жителей и бледные тени бесчисленных инородцев, мелькавшие промеж них, как привычное и едва заметное наваждение».<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла*. Т. 3. С. 353.

<sup>2</sup> «У этой крупной хищной немки было странное имя; мне мое подобие творительного падежа придавало ему звук сентиментального заверения: ее звали Clara Stoboy» (Набоков В. *Дар*. С. 9).

<sup>3</sup> Набоков В. *Дар*. С. 131.

<sup>4</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 121.

<sup>5</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 149.



## ГЛАВА ВТОРАЯ

# СОКРАТИКИ И ПЛОСКОМАНЦЫ В ДЕЙСТВИИ

*Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий всё маленьким.*

**Фридрих Ницше.** *Так говорил Заратустра*

Представив тебе, читательница, жителей набовковской Плоскомании, я расскажу теперь об их де-лишках. Ведь δειλος, – дурные, чёрные, грязные – скрытны. Никто не знает их чаяний, их стремлений; никто не ведаёт, как они взирают своим моргающим глазом на «доброе» – бессмертно здорового, бессмертно весёлого, удачливого и любимого богами аристократа. Едва крикливый Терсит раскрывал рот, тут же находился «златокудрый»<sup>1</sup> собеседник Паллады, чтобы вбить его дрянные слова обратно ему в глотку. Мнение «тета» просто не должно быть высказываемо, так как оно не только не представляет интереса, но и отравляет своим «карканьем» слух богов – и богинь, прибавил бы джентльмен Ницше.

Так было в те времена, когда Греция была аристократической, когда, по мнению Моррасса, она создала своё прекраснейшее, неистошимое по сей день богатство. Но потом цари-Одиссеи, один за другим, стали жертвами своей мудрости,<sup>2</sup> и к власти пришла «сволочь социалистическ[ая], апостол[ы] чандалы»,<sup>3</sup> и принялась сжигать в побед-

<sup>1</sup> Гомер. *Одиссея*, XIII, v. 399. Там же. С. 170.

<sup>2</sup> Согласно Аполлодору, сын Одиссея и Цирцеи приезжает на Итаку, по-эдиповски вступает в сражение с отцом и смертельно ранит его. (См.: Аполлодор, *Bibliothèque*, VII, 16, 36–37, Paris, Belles Lettres, Traduit par Jean-Claude Carrère et Bertrand Massonie, 1991, p. 149). Так Одиссей заплатил за часть сверхчеловеческой мудрости, некогда полученной от дочери Гелиоса.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Антихрист*. Там же. Т. 2. С. 686.



ном фейерверке накопленные долгими веками ценности: «Из созданного терпеливым трудом, накопленного поколениями богатства, всякая демократия делает огромный праздничный костер».<sup>1</sup> Сократовское «добродетельное знание» восторжествовало; доселе никому не интересное мнение тетов и метеков стало слышно, «грязные» теты и метек получили широкое поле для действия.

Платон, которого Ницше называет представителем аристократии Афин, приблизившимся к Сократу вопреки своей аристократической натуре («В морали Платона есть нечто, собственно Платону не принадлежащее, а только находящееся в его философии, можно бы сказать, вопреки Платону: сократизм, для которого он был собственно слишком аристократичен»<sup>2</sup>), считал демократию наихудшей политической системой.<sup>3</sup> Он же считал демократию предтечей тирании: «...Тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как из демократии; иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство».<sup>4</sup>

Аристотель, ученик Платона, в своей *Политике* проводит строгую границу между «добрыми» и «дурными» общественными формациями. К первым относятся монархия, аристократия и полиция, ко вторым – тирания, олигархия и демократия: «В нашем предыдущем рассуждении о видах государственного устройства мы распределили их так: три вида правильные – царская власть, аристократия, полиция – и три отклоняющиеся от них – тирания – от царской власти, олигархия – от аристократии, демократия – от полиции».<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> «Des biens que les générations ont lentement produits et capitalisés, toute démocratie fait un grand feu de joie.» Charles Maurras, *Anthinea*, Paris, Librairie Honoré et Édouard Chapion Éditeurs, 1912, p. VII, Перевод автора.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла*. Там же. Т. 2. С. 310.

<sup>3</sup> Платон. *Государство* VIII, 544 с. Собр. соч.: В 3 т. М., 1971. Т. 1. С. 356.

<sup>4</sup> Там же. Т. 1. С. 381.

<sup>5</sup> Аристотель. *Политика* IV, 2, 26–30. Собр. соч.: В 4 т. М. Т. 4. С. 488.

Основываясь на мнении своих предшественников, Ницше объявляет демократию «не только формой упадка политической организации, но и “формой измельчания человека, низведения его на степень посредственности и понижения его ценностей”»,<sup>1</sup> а равенство, необходимое в современной демократической системе, по-платоновски ассимилируется Ницше с тиранией: «Проповедники равенства! Бессильное безумие тирана вопиёт в вас о “равенстве”: так скрывается ваше сокровенное желание тирании за словами о добродетели!»<sup>2</sup> Следовательно, демократия, согласно Ницше, не может не ввергнуть наш с тобою, читательница, континент во власть тирании: «Я хочу сказать, что демократизация Европы есть вместе с тем невольное мероприятие к расположению тиранов – если понимать это слово во всевозможных смыслах, а также и в умственном».<sup>3</sup>



Ницше не только посвящает анализу аристократичности целую главу «Что аристократично?» своего труда *По ту сторону добра и зла*?<sup>4</sup>, но и ведёт себя как аристократ. Барон фон Зейдлиц неслучайно характеризовал Фридриха Ницше как самого аристократичного человека: «Я не знал ни одного – ни одного! – более аристократичного человека, чем он. Он мог быть беспощадным только с идеями, но не с людьми – носителями идей».<sup>5</sup> Трудно не согласиться с его оценкой качеств Фридриха Ницше, заявлявшего о себе в таких словах: «Я сам противник христианства *de rigueur*, далёк от того, чтобы мстить отдельным лицам за то, что является судьбой тысячелетий».<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла*. Там же. Т. 2. С. 322.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 71.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла*. Там же. С. 362.

<sup>4</sup> Ницше Ф. Там же. С. 379–405.

<sup>5</sup> Elisabeth Förster-Nietzsche, *Das Leben Friedrich Nietzsche*, Leipzig, 1904, t. 2, p. 15. Свасьян К. А. *Фридрих Ницше: мученик познания* // Фридрих Ницше. Там же. Т. 1. С. 19.

<sup>6</sup> Ницше Ф. *Ессе homo*. Там же. Т. 2. С. 706.

Презирая демократию, Ницше открыто призвал к противостоянию *этой* демократии возрождением аристократии, но не прежней аристократии, безнадежно страдающей пессимизмом и упадком силы, добровольно оставляющей своё место накатывающейся волне торжествующей чандалы. Все чаяния *этой* аристократии заключаются не более чем в получении позволения сесть: «...Ваш род сделался придворным, и вы научились, пёстрые, как фламинго, часами стоять в мелководных прудах. Ибо умение стоять есть заслуга у придворных; и все придворные верят, что к блаженству после смерти принадлежит – позволение сесть!»<sup>1</sup> Ницше призывает к ренессансу новой аристократии, аристократии духа:

*«О братья мои, я жалею вас в новую знать: вы должны стать созидателями и воспитателями – сеятелями будущего. Поистине, не в ту знать, что могли бы купить вы, как торгаши, золотом торгашей: ибо мало ценности в том, что имеет свою цену».*<sup>2</sup>

Заратустра – пророк, впервые заговоривший о борьбе добра и зла, как движущей силе, – потому и был выбран Фридрихом Ницше глашатаем сверхчеловеческих ценностей: *«Заратустра первый увидел в борьбе добра и зла истинное колесо в движении вещей – перенесения морали в метафизику, как силы, причины, цели в себе, есть его дело».*<sup>3</sup> Заратустра считает себя вправе устанавливать границу между плебеем и аристократом, и даже указывать путь к воспитанию аристократического духа.

Путь воспитания созидающего аристократа – единение с природой и познание её глубинных тайн. И Заратустра, парафразируя Шопенгауэра, говорит о высшей мудрости, дающейся в стороне от сократовской доктрины, вдали от сухой науки – при контакте с живой (ибо природа и есть жизнь) природой. Мудрость, гордость и мужество символизируют змея и орёл:

*«Это мои звери! – сказал Заратустра и возрадовался в сердце своем.*

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 147.

<sup>2</sup> Там же. С. 146.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Эссе homo*. Там же. Т. 2. С. 763.

*Самое гордое животное, какое есть под солнцем, и самое умное животное, какое есть под солнцем, – они отправились разведать.*

*Они хотят знать, жив ли еще Заратустра».<sup>1</sup>*

К ним отсылает Заратустра всех, кого он встречает на горной тропе:

*«Ну что ж! – сказал Заратустра. – Тебе бы следовало увидеть и моих зверей, орла моего и змею мою, – равных им не существует теперь на земле.*

*Смотри, там дорога ведёт к пещере моей: будь гостем её этой ночью. И поговори со зверями о счастье зверей, – пока сам я не вернусь».<sup>2</sup>*

И если звери Заратустры совершенны, то людям до них далеко: *«Заратустра говорил это в сердце своём, в то время, как солнце поднималось; тогда он вопросительно взглянул на небо, ибо услышал над собою резкий крик орла своего:*

*“Ну что ж! – крикнул он в вышину. – Это нравится мне. Звери мои проснулись, ибо я проснулся.*

*Орёл мой проснулся и читит, подобно мне, солнце. Орлиными когтями хватает он новый свет. Вы настоящие звери мои; я люблю вас.*

*Но ещё недостаёт мне моих настоящих людей!»<sup>3</sup>*

Тут-то я и возвращаюсь к Набокову и его ницшеановским героям, а именно к Константину Годунову-Чердынцеву, черпающему знания в природе – в легчайшей, раннейшей, а потому и таинственнейшей её части – в бабочках-душах. Константин считает энтомологию занятием элитарным, аристократичным, а потому не может не служить мишенью для нападок чандал от науки, обвинявших его в недемократичности: *«Был один казанский профессор, который особенно напал на него [Константина Кирилловича. – А. Л.], исходя из каких-то гуманитарно-либеральных предпосылок, обличая его в научном аристократизме, в надменном презрении к Человеку [Хоть и с большой буквы, но речь-то идёт о последнем, маленьком человечке. – А. Л.], в невнимании к интересам чи-*

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. С. 17.

<sup>2</sup> Там же. С. 195.

<sup>3</sup> Там же. С. 236.

*тателя, в опасном чудачестве и ещё во многом другом».*<sup>1</sup>

От них, от этих демократов и их разрушительной деятельности прячется Чердынцев в кабинете-пещере, а затем удаляется на Восток. И повсюду изучает он аристократическую по-своему духу природу, дарующую возможность созидать. У ницшеанца Набокова таинственные символы природы, как герб дворянского рода, могут быть познаны опираясь на знание законов геральдики: *«От бесед с отцом, от мечтаний в его отсутствие, от соседства тысячи книг, полных рисунков животных, от драгоценных отливок коллекций, от карт, от всей этой геральдики природы и каббалистики латинских имён, жизнь приобретала такую колдовскую лёгкость, что казалось – вот сейчас тронусь в путь. Оттуда я теперь занимаю крылья».*<sup>2</sup>

Поскольку у Набокова речь идёт о крылатой лёгкости поэта, описанной ещё Платоном (*«...поэт – это существо лёгкое, крылатое и священное; и он может творить лишь тогда, когда делается вдохновенным и исступлённым и не будет в нём более рассудка; а пока у человека есть этот дар, он не способен творить и пророчествовать»*<sup>3</sup>), и поскольку она, как следует из приведённой выше цитаты Дара, неотделима от аристократичности, получаемой Фёдором в наследство от отца, то становится понятно, что Фёдор, уже поупражнявшийся во владении оружием (написавший *Жизнь Чернышевского* и имевший смелость его опубликовать!), понимает своё дальнейшее творчество как битву с все опошляющей демократией. И вести эту борьбу он будет там, где он силён, там, где нет места равенству, там, где подлинный литератор – монарх, т. е. на белом листе: *«Во всяком случае, сперва примусь за другое, – хочу кое-что по-своему перевести из одного старинного французского умищца, – так, для окончательного порабощения слов, а то в моём Чернышевском они ещё пытаются голосовать».*<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Набоков В. Дар. Т. 3. С. 102—103.

<sup>2</sup> Там же. Т. 3. С. 104.

<sup>3</sup> Платон. *Ион* 534 b // Собр. соч.: В 3 т. М., 1968. Т. 1. С. 138.

<sup>4</sup> Набоков В. Дар. Т. 3. С. 328.

Когда же дело доходит до демократии как общественной системы, Фёдор чрезвычайно нелестно отзываясь и о ней. И, конечно, немаловажен сам факт, что как только у Набокова заходит речь о демократии, тотчас же упоминается и «Плоскомания Европы» Фридриха Ницше: *«Вообще, я бы завтра же бросил эту тяжкую, как головная боль, страну <...> где из тумана какой-то скучнейшей демократической мокроты, – тоже фальшивой, – торчат всё те же сапоги и каска...»*<sup>1</sup>



Я упомянул выше о ненависти Ницше к демократическому равенству: *«Проповедники равенства! Бессильное безумие тирана вопиёт в вас о "равенстве": так скрывается ваше сокровенное желание тирании за словами о добродетели.»*<sup>2</sup> И дальше: *«Я не хочу, чтобы меня смешивали и ставили наравне с этими проповедниками равенства. Ибо как говорит ко мне справедливость: "люди не равны". И они не должны быть равны! Чем была бы моя любовь к сверхчеловеку, если бы я говорил иначе?»*<sup>3</sup> Так пророк опровергает «последнего человека» и его веру в равенство: *«Нет пастуха, одно лишь стадо! Каждый желает равенства, все равны: кто чувствует иначе, тот добровольно отправляется в сумасшедший дом.»*<sup>4</sup>

Ницшеановский герой Фёдор вторит Ницше, высказывая своё презрение и к равенству, и к громкоголосым предводителям восторжествовавшей чандалы: *«А в общем – пускай. Всё пройдёт и забудется, – и опять через двести лет самолюбивый неудачник отведёт душу на мечтающих о довольстве простаках (если не будет моего мира, где каждый сам по себе, и нет равенства, и нет властей, – впрочем, если не хотите, не надо, мне решительно всё равно)»*<sup>5</sup> – Ах, это «не хотите, не надо, мне решительно всё равно!» Сколько в

<sup>1</sup> Набоков В. Дар. Т. 3. С. 315.

<sup>2</sup> Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Там же. Т. 2. С. 71.

<sup>3</sup> Там же. Т. 2. С. 72. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>4</sup> Там же. Т. 2. С. 12.

<sup>5</sup> Набоков В. Дар. Т. 3. С. 323.

нём снисходительного и расточительного презрения «Если же не удался человек – ну что ж!»,<sup>1</sup> – не так ли однажды воскликнул персидский пророк?



Что же, собственно, является причиной того, что современный мир вынужден существовать в системе ценностей, экзальтирующих равенство? Фридрих Ницше даёт ответ на поставленный вопрос. Согласно философу, именно майевтика Сократа уничтожает аристократический дух, подменяет его плебейским. Вот какое будущее предстояло пережить античному миру, находящемуся под властью «разумной» сократической культуры, достигшей своего апогея в Александрии: «...александрийская культура нуждается в сословии рабов, чтобы иметь прочное существование; но она отрицает, в своём оптимистическом взгляде на существование, необходимость такого сословия и идёт поэтому мало-помалу навстречу ужасающей гибели, неминуемой, как только эффект её прекрасных, соблазнительных и успокоительных речей о “достоинстве человека” и “достоинстве труда” будет окончательно использован. Нет ничего страшнее варварского сословия рабов, научившегося смотреть на своё существование как на некоторую несправедливость и принимающего меры к тому, чтобы отомстить не только за себя, но и за все предшествовавшие поколения».<sup>2</sup>

А через шестнадцать лет после публикации *Рождения трагедии* Ницше сопоставит сложившуюся в Александрии ситуацию с современным ему миром. Философ открыто пишет, о каком именно александрийском сословии рабов идёт речь, и тем самым пророчествует о будущем Старого Континента. Вот о чём говорится в главе «Рабочий вопрос»: «Рабочего сделали воинственным,

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 211.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 127.

ему дали право союзов, политическое право голо-са: что же удивительного, если рабочий смотрит нынче на своё существование уже как на бедствие, выражаясь морально, как на несправедливость? Но чего хотят? спрашиваю ещё раз. Если хотят цели, то должны хотеть и средств: если хотят рабов, то надо быть дураками, чтобы воспитывать их для господства».<sup>1</sup>

И если, согласно оптимистической доктрине Сократа и его наследников, знания наделяют человека добродетелью, шаг за шагом совершенствуя социальные отношения, то и наука должна переживать подобное перманентное улучшение. Таким образом, страдающее «сократическим синдромом»<sup>2</sup> общество прославляет понятие «научного прогресса» и существует, руководствуясь доктриной, утверждающей, что «социальный прогресс» идёт рука об руку с «прогрессом научным».

Одной из доктрин научного «прогресса» XIX века был дарвинизм. Чарльз Дарвин в своём труде «Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение благоприятных пород в борьбе за жизнь», опубликованном в 1859 году, излагает прогрессистскую теорию, согласно которой животный мир, подчиняясь закону «борьбы за существование», развивается от наименее приспособленных к наиболее совершенным видам и расам. Это оптимистическое учение отрицается антидарвинистом Заратустрой:

*«Конечно, не попал в истину тот, кто запустил в неё словом о “воле к существованию”: таковой воли – не существует!*

*Ибо то, чего нет, не может хотеть; а что существует, как могло бы оно ещё хотеть существования!*

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Сумерки идолов, или Как философствуют молотом*. Там же. Т. 2. С. 617. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>2</sup> Неологизм, который я имею смелость изобрести. Впервые выражение было использовано в статье *Будущее сократического человека у Тургенева*, которая после публикации *Выздоровляющего* не была напечатана организаторами конференции в Цюрихе (октябрь 2001) и была опубликована французскими эллинистами. – А. Л. См.: Anatoly Livry, *L'avenir de l'homme socratique chez Tougouénev* // Guillaume Budé, Belles Lettres, 2–2003, p. 151–169.



*Только там, где есть жизнь, есть и воля; но не воля к жизни, но – так учу я тебя – воля к власти!»<sup>1</sup>*

Можно с уверенностью утверждать, что все труды Ницше до и после *Так говорил Заратустра* только расшифровывают это «*стоящее особняком произведение*»,<sup>2</sup> но мы-то с тобой, читательница, понимаем с полуслова арийское наречье!

Расшифрую всё-таки крик Заратустры для «разумных» учёных: в 1888 году, в *Сумерках идолов*, Ницше объясняет фразу пророка на радость «коротконогим» софистам, коим не понять высокогорных притч перса. И делает это Ницше в главе «*Анти-Дарвин*»: «*Что касается знаменитой “борьбы за существование”, то она кажется мне, однако, более плодом утверждения, нежели доказательства. Она происходит, но как исключение; общий вид жизни есть не нужда, не голод, а, напротив, богатство, изобилие, даже абсурдная расточительность, – где борются, там борются за власть...*»<sup>3</sup>

И Набоков неоднократно соглашается в этом с Ницше. Константин Годунов-Чердынцев привозит из своих *сверхевропейских странствий* результаты, подтверждающие антидарвинистское мировоззрение Фридриха Ницше и – в чём Набоков заинтересован в первую очередь – передаёт их будущему ницшеанцу Фёдору: «*Он рассказывал о невероятном художественном остроумии мимикрии, которая необъяснима борьбой за жизнь (грубой спешкой чернорабочих сил эволюции), излишне изысканна для обмана случайных врагов, пернатых, чешуйчатых и прочих (малоразборчивых, да и не столь уж до бабочек лакомых), и словно придумана забавником-живописцем как раз ради умных глаз человека (догадка, которая могла бы далеко завести эволюциониста, наблюдавшего питающихся бабочками обезьян)...*»<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 83.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Эссе ното*. Там же. Т. 2. С. 749.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Сумерки идолов, или Как философствуют молотом*. Там же. Т. 2. С. 621. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>4</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 100.

Говоря же от первого лица, Набоков ставит рядом и «вздорную», по его мнению, теорию бородастого англичанина, и рвение пропотевшего пролетария: *«Ближайшее подобие зарождения разума (и в человеческом роде, и в особи), мне кажется, можно найти в дивном толчке, когда, глядя на путаницу сучков и листьев, вдруг понимаешь, что дотоле принимаемое тобой за часть этой ряби есть на самом деле птица или насекомое. Для того, чтобы объяснить начальное цветение человеческого рассудка, мне кажется, следует предположить паузу в эволюции природы, животную минуту лени и неги. Борьба за существование – какой вздор! Проклятие труда и битв ведёт человека обратно к кабану. Мы с тобой часто со смехом отмечали маньякальный блеск в глазу у хозяйственной дамы, когда в пищевых и распределительных замыслах она этим стеклянистым взглядом блуждает по моргу мясной. Пролетарии, разъединяйтесь! Старые книги ошибаются. Мир был создан в день отдыха».*<sup>1</sup>

В *Других берегах* Набоков подчеркивает, что его юношеское противостояние излишне «грубому» дарвинизму сродни тому, что он позже находил в искусстве. Текст *Других берегов* напоминает приведенный выше отрывок из *Дара*:

*«Мне впоследствии привелось высказать, что “естественный подбор” в грубом смысле Дарвина не может служить объяснением постоянно встречающегося математически невероятного совпадения хотя бы только трех факторов подражания в оном существе – формы, окраски и поведения (т. е. костюма, грима и мимики); с другой же стороны, и “борьба за существование” ни при чем, так как подчас защитная уловка доведена до такой точки художественной изощренности, которая находится далеко за пределами того, что способен оценить мозг гипотетического врага – птицы, что ли, или ящерицы: обманывать, значит, некого, кроме разве начинающего натуралиста. Таким образом, мальчиком, я уже находил в природе то сложное и “бесполезное”, которое я по-*

<sup>1</sup> Набоков В. *Другие берега*. Т. 4. С. 295.

эже искал в другом восхитительном обмане – искусстве».<sup>1</sup>

И тут-то мы наконец подходим к тому, что наиболее интересовало Набокова, а именно к истинному наслаждению автора, когда тот раздавал пощёчины и пинки наследникам Сократа, преимущественно жителям презираемой Фридрихом Ницше Плоскомании. Ведь марксизм – доктрина, основанная немцем. Её-то Набоков иронично характеризует как «борьб[у] пустого с тугонабитым желудком»,<sup>2</sup> и повествуя о Чернышевском, Набоков как бы случайно натывается на пошленького германского мещанина и тотчас (несомненно злорадствуя – стравил двух «чандал» – русского Сократа с анархистом!<sup>3</sup>) цитирует слова Бакунина, называвшего немецкого экономиста «мелким буржуа от мозга до костей».<sup>4</sup>

Это определение Маркса как мелкого буржуа и тривиального мещанина, то есть представителя мира пошлости *par excellence*, – а пошлость, по Ницше, качество немецкое, – не единственное у Набокова. В *Соглядатае* Набоков высказывается о Марксе в тех же самых словах: «...расхлябанный и брюзгливый буржуа в клетчатых штанах времён Виктории, написавший тёмный труд Капитал, – плод бессонницы и мигрени».<sup>5</sup>

Марксизм – это оптимистическая доктрина афинского диалектика, пересказанная по-немецки для «разумных» сократическим учёным Марксом. Ведь и для Маркса – «человек хорош, к чему же Прометеева работа над ним? Надо только изменить условия его существования. Эта оптимистическая, немецкая, следовательно, вдвойне по-

<sup>1</sup> Набоков В. *Другие берега*. Т. 4. С. 205.

<sup>2</sup> Набоков В. *Соглядатай*. Т. 2. С. 310.

<sup>3</sup> В работах Ницше понятие «анархист» является просто синонимом «плебей», «низкородный», «чёрный» и проч.: «...кто поручился бы за то, что современная демократия, ещё более современный анархизм и в особенности эта тяга к “соттипе”, к примитивнейшей форме общества, свойственная теперь всем социалистам Европы, не означает, в сущности, чудовищного рецидива – и что раса господ и завоевателей, раса арийцев, не потерпела крах даже физиологически?» (Ницше Ф. *К генеалогии морали*. С. 419–420).

<sup>4</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 220.

<sup>5</sup> Набоков В. *Соглядатай*. Т. 2. С. 310.

шлая идеология восторжествовала на родине Набокова. Писатель неоднократно сравнивает результаты творчества немцев и большевиков. «...[Германия есть страна. – А. Л.], где наш родной социальный заказ заменён социальной оказией...»,<sup>1</sup> – замечает Фёдор, который встречает на берлинской улице мрачную (как дух тяжести) немецкую коммунистическую демонстрацию. А чтобы ещё раз подчеркнуть связь с происходящим в Советской России, автор всучил в руки одному из немецких чандал знамя с русской надписью, «калекой орфографической», выведенной калеккой духовным:

*«На Тауэнтциеништрассе автобус задержала мрачная процессия; сзади, на медленном грузовике, ехали полицейские в чёрных крагах, а среди знамён было одно с русской надписью “За Серб и Молт!”, так что некоторое время Фёдор тяготился мыслью, где это живут Молты – или это Молдаване?»<sup>2</sup>*

Набоков настаивает на связи Германия–СССР, ведь сразу после описания краснознамённого шествия по Берлину, без всякого перехода, мысль Фёдора переносится в зoorландскую Россию:

*«Вдруг он [Фёдор. – А. Л.] представил себе казённые фестивали в России, долгополых солдат, культ скул, исполинский плакат с орущим общим местом в ленинском пиджачке и кепке, и среди грома глупости, литавров скуки, рабьих великолепий, – маленький ярмарочный писк грошовой истины. Вот оно, вечное, всё более чудовищное в своём радушии, повторение Ходынки, с гостинцами – во какими (гораздо больше сперва полагававшихся) и прекрасно организованным увозом трупов...»<sup>3</sup>*

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 315.

<sup>2</sup> Там же. С. 322.

<sup>3</sup> Там же. С. 322–323.



Древний еврейский Бог ещё в пору своей ревнивой, «высокостильной»<sup>1</sup> молодости направлял силой избранный народ свой по пути, которому призывает следовать и Заратустра для достижения *сверхчеловеческого идеала*, а именно – верить божественной инспирации, отдаваться дионисическому экстазу (когда бог «нисходит» на поэта), не забывая и о длительном аполлоническом созерцании. Именно через подобное доверительное общение с Богом проходит путь к творению.

Когда же, подобно Яше Чернышевскому (и целой банде сократических «структуралистов»), человек принимается все высчитывать, то он полностью отрезает себе путь к поэзии и *сверхпознанию*. Не потому ли в «добром» (потому что жестоком по отношению к врагам) *Ветхом Завете* цифра есть синоним зла, орудие сатаны:

*«Между тем опять воспылал гнев Господа на Израильтян, когда, на зло им, вздумалось Давиду сказать: “пойди, сочти Израильтян и Иудеев”»*,<sup>2</sup>

и позже:

*«И возстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать перепись»*.

*И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: “подите, исчислите Израильтян, от Вирсавии до Дана, и представьте мне, чтоб я знал число их”»*.<sup>3</sup>

Мгновенна и неотвратима кара за *hybris*, за человеческое желание сделать разумным то, что надлежит совершать, полагаясь лишь на божественную инспирацию: *«И навёл Господь язву на Израиль, и умерло из Израильтян семьдесят тысяч»*

<sup>1</sup> Ницше отдаёт должное величию антидемократа Иеговы: ведь выбрать «свой народ» – это отказаться от равенства и, следовательно приблизиться и даже превзойти Грецию и Индию: *«В иудейском Ветхом Завете, в этой книге о Божественной справедливости, есть люди, вещи и речи такого высокого стиля, что греческой и индийской литературе нечего сопоставить с ним»* (Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла*. Там же. Т. 2. С. 282).

<sup>2</sup> *Ветхий Завет, Вторая книга Самуила, XXIV*, Берлин, Издание Британского и Иностранного Билейского общества, 1922. С. 335.

<sup>3</sup> *Ветхий Завет, Первая Книга Паралипоменон, XXI*, Берлин, Издание Британского и Иностранного Билейского общества, 1922. С. 423.

человек. И послал Бог Ангела в Иерусалим, чтоб истреблять его».<sup>1</sup>

Именно цифру-разумность воплощают у Набокова жители Плоскомании и те иностранцы, кто эту Плоскоманию любит. Таков, например, Алфёров, являющийся постоянной величиной у Набокова – неким «перманентным пошляком» набоковского творчества. Недаром из *Машеньки* он переходит в *Защиту Лужина*.<sup>2</sup> И именно с фразы, достойной излишне самоуверенного «софиста-слависта», начинается знакомство читателя с этим персонажем. Математик Алфёров открыто противопоставляет цифру поэзии: «*Вы не математик, Антон Сергеевич, – суетливо продолжал Алфёров. – А я на числах, как на качелях, всю жизнь прокачался. Бывало, говорил жене: раз я математик, ты мать-и-мачеха...*»<sup>3</sup>

Следовательно, такой персонаж, как Алфёров не может не любить Германию, «разумно», по-научному, «сократически» предпочитать её России. Счетовод-Паламед вступает в открытую конфронтацию с «безумной» поэзией (когда-нибудь он поплатится за это). Вот какой совет даёт он старому удоду-рифмачу: «*Я советую вам здесь остаться. Что тут плохого? Это, так сказать, прямая линия. Франция скорее зигзаг, а Россия наша – просто загогулина. Мне очень нравится здесь: и работать можно, и по улицам ходить приятно. Математически доказываю вам, что если уж где-нибудь житьельствовать...*»<sup>4</sup>

Но если не немецкий марксизм (классовая борьба) и его сводная сестра, английская эволюция (борьба за жизнь), то какой же закон властвует над миром? Ницше, а вслед за ним и Набоков дают одинаковый ответ на данный вопрос.

Как я уже писал выше, согласно немецкому философу, на земле властвует случай, – случай не только «*безмерно расточительн[ый], безмерно равнодушн[ый], без намерений и оглядок, без жалости и справедливости*»,<sup>5</sup> но и случай – аристократический.

<sup>1</sup> Там же. С. 423.

<sup>2</sup> «*Был тут Алфёров с женой, смуглая, ярко покрашенная барышня, чудесно рисовавшая жар-птицу...*» (Набоков В. *Защита Лужина*. Там же. Т. 2. С. 136).

<sup>3</sup> Набоков В. *Машенька*. Т. 1. С. 45.

<sup>4</sup> Там же. С. 44.

<sup>5</sup> Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла*. Там же. С. 246.

В одном из первых выступлений перед коллегами в Базеле Ницше объявляет об этом: «*Большинство людей явно случайно пришли в этот мир*».<sup>1</sup> Случай – благороден, и тринадцать лет спустя Заратустра подтвердит частицей «von» наличие у случая голубой крови фразой, которую я уже столько раз цитировал по-русски: «*“Von Ohn-gefähr“ – das ist der älteste Adel der Welt*».<sup>2</sup>

Что же касается Набокова, то, как я уже показывал выше, ни дарвинизм, ни марксизм ему не по нраву. И уж не случай ли властвует в его мире? Вспомним, что обвинявшийся в презрении к «Человеку» антидарвинист Константин Кириллович, который литературу в общем-то недолюбливал, делает исключение лишь для Пушкина, для одного знаменитого латинского автора и для Монтеня; и уносит труды этих трёх писателей с собой в сверхевропейские просторы: «*Перед сном, в ненастные вечера, он читал Горация,<sup>3</sup> Монтеня, Пушкина, – три книги, взятых с собой*».<sup>4</sup>

Идеальная подборка чтения для «мало читающего» ницшеанца! Что же касается Монтеня, то Ницше писал о своей близости с мэром Бордо: «*...в моём духе, кто знает? должно быть, и в теле есть нечто от причудливости Монтеня...*»,<sup>5</sup> и

<sup>1</sup> Friedrich Nietzsche, *Nous autres philologues*, Nantes, Éditions Le Passeur, 1992, p. 51. Перевод автора.

<sup>2</sup> Friedrich Nietzsche, *Also sprach Zarathustra*, München, Deutscher Taschenbuch, 1988, p. 209. «“Случай” – это самая древняя аристократия мира .....». Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 118.

<sup>3</sup> Можно сказать, что Константин Годунов-Чердынцев просто следует предписаниям доктора Ницше. Ведь именно Гораций назван Фридрихом Ницше самым аристократическим, самым восхитительным поэтом: «*Не иначе было со мной при первом соприкосновении с Горацием. До сих пор ни один поэт не приводил меня в такое артистическое восхищение, в какое приводила меня с самого начала ода Горация. В известных языках нельзя даже желать того, что здесь достигнуто. Это мозаика слов, где каждое слово, как звук, как пятно, как понятие, изливает свою силу и вправо и влево, и на целое, это тинтит объёма и числа знаков, это достигаемое таким путём тахтит энергии знаков – всё это в римском духе и, если поверят мне, аристократично par excellence. Вся остальная поэзия является по сравнению с этим чем-то слишком популярным, – простой болтовнёй чувств...*» (Ницше Ф. *Сумерки идолов, или Как философствуют молотом*. Там же. Т. 2. С. 625. Курсив Фридриха Ницше).

<sup>4</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 110.

<sup>5</sup> Ницше Ф. *Ессе homo*. Там же. Т. 2. С. 712.

недаром одна из самых известных фраз Монтеня является точной (только галльской) копией высказывания персидского пророка: «Ничего благородного не происходит без вмешательства случая».<sup>1</sup>

Именно случай господствует над героями Набокова, а те осознают это и постоянно заискивают перед этим господином Земли. Так, в *Подвиге* мать Мартына Эдельвейса бросает по-гераклитовски кости (становящиеся в её женских руках картами): выйдет или не выйдет из её отпрыска нечто неповторимое, совершенное, прямоугольное – словом, удастся ли он? И все они – Клавдий, Гертруда и её сын – настороженно замирают в ожидании приговора его величества случая: «Дядя Генрих, отложив газету и подбоченясь, смотрел на карты, которые раскладывала на ломберном столе Софья Дмитриевна. В окна и в дверь напирала с террасы тёплая, чёрная ночь. Подняв голову, Мартын вдруг настораживался, словно был какой-то смутный призыв в этой гармонии ночи и свеч. “Последний раз он у меня вышел в России, – проговорила Софья Дмитриевна. – Он вообще выходит очень редко”. Расставя пальцы, она собрала рассыпанные карты и принялась их вновь тасовать. Дядя Генрих вздохнул».<sup>2</sup>

Не выходит! Мартыну в одиночку монстра не убить – ему нужна проводница, Ариадна-Соня.

<sup>1</sup> «Rien de noble ne se fait sans hazard.» Montaigne, *Essais*, livre I, ch. XXIV, Paris, Éditions Gallimard, 1962, p. 128, Перевод автора. Нельзя не отметить и других истинно «ницшевских» высказываний Монтеня. Чего стоит его мнение о Гомере-сверхчеловеке: «Но для меня в нём [Гомере. – А. Л.] важно не это: мне он представляется исключительным. Неким сверхчеловеком по сравнению с другими». (Ce n'est pas ainsi que je conte: j'y mesle plusieurs autres circonstances qui me rendent ce personnage admirable, quasi au dessus de l'humaine condition»). Montaigne, *Essais*, livre II, ch. XXXVI, Paris, Éditions Gallimard, 1962, p. 731. (Перевод автора.). Его мнение о «книгочтении»: «При вчитывании я начинаю видеть хуже, моё внимание рассеивается» («Ma veuë s'y confond et s'y dissipe»). Montaigne, *Essais*, livr. II, ch. X, Paris, Éditions Gallimard, 1962, p. 389, Перевод автора. А мнение Монтеня о собственных детях превосходно отображает ницшевское «Если же не удался человек – ну что ж!» (Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. Там же. Т. 2. С. 211): «Я сам потерял двух-трёх детей в младенческом возрасте, не без сожаления, но и без ропота» («Et j'en ay perdu, mais en nourrice, deux ou trois, sinon sans regret, au moins sans fascherie») Montaigne, *Essais*, livre I, ch. XIV, Paris, Éditions Gallimard, 1962, p. 61. Перевод автора.

<sup>2</sup> Набоков В. *Подвиг*. Т. 2. С. 187.



А она, Минотаврова сестрица, страсть как жадна на нить! Потому Мартын и теряется в лабиринте. Чудовищная сократическая империя зла пожирает его, этого срезанного «Эдельвейса», чреватого «белокурным благородством», восклицающего перед смертью моррасовское:

«...*Est-il*

*Outre [ce] labyrinthe, une porte de gloire* [моя разрядка. – А. Л.]?

*Ariane me manque et je n'ai pas son fil*».<sup>1</sup>

Итак, Мартын *случайно* не удался! «Ну что ж!», – по-зороастровски восклицает ницшеанец Набоков и тотчас отдаёт его место более удавшемуся, более злому, более насмешливому, более совершенному творцу, ожидая «*высших, более сильных, победоносных, более весёлых, таких, у которых прямо-угольно построены тело и душа: смеющиеся львы должны прийти!*»<sup>2</sup> И как я уже писал ранее, таким высшим созидателем становится в набоковском творчестве Фёдор Годунов-Чердынцев, случай к нему куда благосклоннее.

И сколько бы антипоэт не испытывал случай, никогда кости не лягут «по-доброму», сократический человек – всегда в проигрыше. Вот что получается в *Даре*, когда один из них «пытает счастье»: «*Каждый стоял, как мог. Гурман, например, опустив пегую голову, держал руку ладонью вверх на столе, так, словно выплеснул кости и сокрушённо замер над проигрышем*».<sup>3</sup>



Страницы произведений ницшеанца Набокова переполнены примерами разрушительнейшей деятельности жителей Плоскомании. Им одним можно было бы посвятить серьёзную научную книгу, которая наверняка стала бы гордостью лю-

<sup>1</sup> «*Есть ли за этим лабиринтом дверь, что ведёт к славе? Мне не хватает Ариадны и её нити.*» Charles Maurras, *La priure de la fin*, Clairvaux, juin 1950 in *Lecture et Tradition, Bulletin littéraire contrerévolutionnaire*, n-310, décembre 2002, p. 45. Перевод автора, который осмеливается заметить читательнице, что французское «gloire» (слава) Моррас так напоминает английское название *Подвига (The Glory)*.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 204. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>3</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 288.

бого шустрого разгрызателя орехов, забившегося в преуютнейшую норку какого-нибудь университета. Я же дам лишь один пример, чтобы затем вновь перейти к милой моему сердцу теме – борьбе Набокова с излишне «разумными» наследниками Сократа.

Ницше высказывает мысль о том, что архитектура выражает духовное состояние нации. Следовательно, маленький человек, выведенный в Европе благодаря многовековому насаждению оптимистической доктрины Сократа, воспроизводит свой внутренний мир в построенных им зданиях. А душа маленького homo socraticus'а явно не по вкусу Ницше и его персидскому герольду:

*«...он [Заратустра. – А. Л.] хотел узнать, что случилось с человеком в отсутствие его: стал ли он более великим или меньше прежнего? И однажды увидел он ряд новых домов; дивился он этому и сказал: “Что означают дома эти? Поистине, не великая душа построила их по своему подобию!*

*Не глупый ли ребёнок вынул их из своего ящика с игрушками? Пусть бы другой ребёнок опять уложил их в свой ящик! [Это уже не Гераклитово «великое дитя», игрок в кости – символ случайно-аристократического мира – а лишь глупый отпрыск своих «маленьких» родителей. – А. Л.]*

*А эти комнаты и каморки: могут ли люди выходить из них и входить туда? Они кажутся мне сделанными для шелковичных червей или кошечка-лакомов, которые не прочь дать полакомиться и собою!”*

*И Заратустра остановился и задумался. Наконец он сказал с грустью: “Всё измельчало!*

*Повсюду вижу я низкие ворота: кто подобен мне, может ещё пройти в них, но – он должен нагнуться!”»<sup>1</sup>*

Не только персидский пророк неприятно поражён архитектурой маленьких людей. Попавший в Плоскоманию Фёдор презрительно поглядывает на произведения немцев. Набоков показывает это на противопоставлении Германии и Франции, недаром же «галльская закваска» Чердынцева отмечается Кончеевым: *«Мне не нравится в вас многое, –*

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 119–120. Курсив Фридриха Ницше.

*петербургский стиль, галльская закваска, ваше невольтерьянство и слабость к Флоберу...»<sup>1</sup>*

Галльская закваска была не чужда самому Набокову, употреблявшему в *Даре* занятые галлицизмы вроде: «*Они довольно много выходили, Елизавета Петровна как всегда будто искала чего-то...*»,<sup>2</sup> и это *Они много выходили* (откуда?, спросит российский корректор) есть ни что иное, как невольный слепок с французского *Ils sortaient beaucoiur*.

Превосходство Франции – не голословное утверждение националиста Анатолия Ливри. У Фридриха Ницше точно так же речь идёт не о французской Республике – прилежной воспитаннице Сократа и его отпрысков (Руссо, Дидро и прочих мрачных деятелей так называемого «Просвещения» – ces «Lumières» qu'il est temps d'eteindre!), но о Франции XVII века, царстве аристократической культуры, гения и вкуса: «*Мы, например, наслаждаемся Гомером, которого не так-то легко могут и могли усвоить люди аристократической культуры (например, французы семнадцатого столетия <...> наслаждаться которыми они едва разрешали себе)*».<sup>3</sup>

И далее: «*Также и красота расы или семьи, их изящество и мягкость во всех жестах вырабатывается: она, подобно гению, есть конечный результат накопленной работы поколений. Надо, чтобы были принесены большие жертвы хорошему вкусу, надо, чтобы ради него многое делалось, многое не делалось – семнадцатый век во Франции достоин удивления и в том и в этом...*»<sup>4</sup>

Одним из самых знаменитых французских архитекторов XVII века, этой аристократической эпохи был Ленотр; даже его жизнь обрывается с концом семнадцатого столетия.<sup>5</sup> Германские же «Ленотры», над которыми Набоков не перестаёт насмеяться, создают, согласно немецкому вкусу,

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 306.

<sup>2</sup> Там же. С. 81.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла*. Т. 2. С. 344.

<sup>4</sup> Ницше Ф. *Сумерки идолов, или как философствуют мотом*. Т. 2. С. 621.

<sup>5</sup> Андре Ленотр, родился в Париже в 1613, умер там же в 1700 г.

кущие садики и уборные и т. д., которые должны служить входом в лес, являющийся единственным приятным исключением из устройства ненавистной страны, ибо лес напоминает Фёдору о пропавшем в Азии отце: *«И как часто бывало в эти лесные дни, особенно когда мелькали знакомые бабочки, Фёдор Константинович представил себе уединение отца в других лесах, исполинских, бесконечно далёких, по сравнению с которыми этот был хворостом, пнём, дребеденью. А всё-таки он переживал нечто родственное той зияющей на картах азиатской свободе, духу отцовских странствий...»*<sup>1</sup>

Поэтому Фёдор, вступая под сень леса, намеренно избегает контакта с безвкусицей местных, плескоманских Ленотров: *«В конце бульвара зазеленелась опушка бора, с пёстрым портиком недавно выстроенного павильона (в атриуме которого находился ассортимент уборных – мужских, женских, детских), через который – по замыслу местных Ленотров – следовало пройти, чтобы сначала попасть в только что разбитый сад, с альпийской флорой вдоль геометрических дорожек, служивший – всё по тому же замыслу – приятным преддверием к лесу. Но Фёдор Константинович взял влево, избежав преддверия: так было ближе».*<sup>2</sup>

Именно так и должен поступать герой-ницшеанец, временно проживающий в стране «маленьких» людей и мечтающий о возвращении на легендарную родину поэтов, туда, где некогда обитал миф,<sup>3</sup> изгнанный излишне «разумными» диалектиками. Ведь миф – это родина поэзии.<sup>4</sup> Фёдор восклицает: *«А когда мы вернёмся в Россию? Какой идиотской сантиментальностью, каким хищным стоном должна звучать эта наша невинная надежда для оседлых россиян».*<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Набоков В. Дар. Т. 3. С. 300. Курсив Набокова.

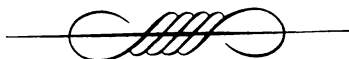
<sup>2</sup> Там же. С. 296.

<sup>3</sup> *«Кто припомнит ближайшие последствия этого неутомимо стремящегося вперёд духа науки, тот тотчас же ясно представит себе, как им уничтожен был миф и как путём этого уничтожения поэзия, лишённая отныне родины, была вытеснена с её естественной идеальной почвы»* (Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 123).

<sup>4</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 120.

<sup>5</sup> Набоков В. Дар. Т. 3. С. 315.

Приведённые слова Фёдора – русское эхо крика Заратустры, измученного соседством измельчавшего европейца и его убогих творений: «*О, когда же вернусь я на мою родину, где я не должен более нагибаться – не должен более нагибаться перед маленькими!*» – И Заратустра вздохнул и устремил взор свой вдаль».<sup>5</sup>



---

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 120.



## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

# О ВОЙНЕ И ВОИНАХ

*Вы говорите, что благая цель освящает даже войну? Я же говорю вам, что благо войны освящает всякую цель.*

**Фридрих Ницше.** *Так говорил Заратустра*

Я уже напоминал об одной из самых глубоких и неполиткорректных мыслей Ницше: *«Посмотри на добрых и праведных! Кого ненавидят они больше всего? Того, кто разбивает их скрижали ценностей, разрушителя, преступника – но это и есть создающий»*.<sup>1</sup> Это ни в коей мере не является чисто умственным интеллектуальным процессом. Весь доселе существовавший мир должен быть взорван, и сгустку созидательной энергии поэта предстоит стать взрывчаткой, подложенной под рельсы, по которым, победно фыркая паром, уже мчится во весь опор краснознаменный сократовский бронепоезд.

И если приниматься всерьез за борьбу с сократовским наследием, то, дорогая читательница, нам необходимо вспомнить, кем именно была впервые представлена доктрина афинского мыслителя. А представлена она была мрачными, сухими, прямоспинными софистами, о которых Ницше писал так: *«Вот стоите вы, чтимые, строгие, с прямыми спинами, вы, прославленные мудрецы! – вами не движет могучий ветер и сильная воля»*.<sup>2</sup> Ницшеанец Набоков воплотил тип такого учёного

---

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 16.

<sup>2</sup> Там же. Т. 2. С. 75.

в насаженных на кол оптимистической доктрины Чернышевском и Арчибальде Муне.<sup>1</sup>

Если уж бороться с сухими и тяжёлыми душами, то орудием этой борьбы должен стать смех – тот самый смех, который, подобно розовому венцу, возложил на себя танцующий на горной вершине перс и которому учил он своих легконогих апостолов: *«Сколь многое ещё возможно! Так научитесь же смеяться поверх самих себя! Вознесите сердца ваши, вы, хорошие танцоры, выше, всё выше! И не забывайте также и доброго смеха! Этот венец смеющегося, этот венец из роз, – вам, братья мои, кидаю я этот венец! Смех признал я священным; о высшие люди, научитесь же у меня – смеяться!»*<sup>2</sup>

Смех Заратустры есть орудие страшное, ужасное и смертоносное, единственное, которого так боятся желтокожие от библиотечного сумрака *«теоретические человечки»*, ведь *«убивают не гневом, а смехом»*,<sup>3</sup> Zarathustra dixit.

Лёгкость и веселый смех персидского пророка не могли не прийтись по душе Набокову-ницшеанцу, Набокову-эллинисту, Набокову-пушкинисту, ибо все хорошие вещи и мысли сходятся, пританцовывая и смеясь, приглашённые в пещеру пророка. Круг «добрых создателей» – Гомера и Морраса, Пушкина и Шопенгауэра, Набокова и Ницше – тесен; в него ни за что не попасть утомлённым горной тропой жирненьким и негибким Сократикам:

*«Кривым путём приближаются все хорошие вещи к цели своей. Они выгибаются, как кошки, они мурлычут от близкого счастья своего, – все хорошие вещи смеются.*

*Походка обнаруживает, идёт ли кто уже по пути своему, – смотрите, как я иду! Но кто приближается к цели своей, тот танцует.*

<sup>1</sup> «...человек – прямой и твёрдый, как дубовый ствол...» (Набоков В. Дар. Т. 3. С. 195). «Арчибальд Мун попрощался на первом же углу и, нежно улыгнувшись Вадиму (который за его спиной обычно звал его заборным словом с приставкой “на колёсиках”), удалился, держась очень прямо» (Набоков В. Подвиг. Там же. Т. 2. С. 203–204).

<sup>2</sup> Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Там же. Т. 2. С. 214. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>3</sup> Там же. Т. 2. С. 228.

И, поистине, статуей не сделался я, ещё не стою я неподвижным, тупым и окаменелым, как столб; я люблю быстрый бег».<sup>1</sup>

Воспользуемся же, читательница, советом перса и отправимся-ка наверх, к истине, приплясывая, да похохатывая. Пойдём, конечно, по кругу!

Согласно *Поэтике* Аристотеля, ямб, избранный Пушкиным и столь нелюбимый Чернышевским впоследствии, назван так потому, что поэты использовали его для выражения насмешек: «ямбический метр, <...> и по сей день называется ямбическим (язвительным), что с помощью его люди язвили (*iambidzein*) друг друга».<sup>2</sup>

Посвящая немало страниц *Дара* описанию борьбы своего героя с Сократиками, Набоков отсылает читателя к Пушкину. Он приводит в *Даре* пушкинскую цитату, являющуюся ответом поэта петербургским критикам – Пушкин считает, что наилучшим будет просто посмеяться над их нападками: «*Перечитывая самые бранчивые критики, – писал Пушкин осенью, в Болдине, – я нахожу их столь забавными, что не понимаю, как я мог на них досадовать; кажется, если бы я хотел над ними посмеяться, то ничего не мог бы лучшего придумать, как только их перепечатать без всякого замечания*».<sup>3</sup> Не потому ли Ницше, этот зоркий стрелок, разглядел с помощью галльского наводчика Мериме «греческую точность и чёткость» лирики Пушкина, следовательно, и свою личную общность с русским поэтом, да ещё и отметил её в записках на своей «доброй» французско-немецкой смеси: «*Mérimée sagt von einigen lyrischen Gedichten Puschkin's "griechisch durch Wahrheit und Einfachheit, trus supérieurs pour la précision et la netteté"*».<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Там же. Т. 2. С. 213. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>2</sup> Аристотель, *Поэтика* 1448 b. Там же. С. 649.

<sup>3</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 230

<sup>4</sup> Friedrich Nietzsche, *Nachgelassene Fragmente, Nachlass Sommer-Herbst 1884* in KSA 10, München, Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter, 1988, t. 11, p. 263 «*Мериме говорил о поэмах Пушкина: "греческое по своим правдоподобию и простоте", наивысшее по точности и чёткости*». Перевод автора.





Обратимся же теперь к набоковскому смеху. С одной стороны, «белокурая бестия Федор Годунов-Чердынцев», т. е. олицетворение разрушительного смеха *сверх*поэта, как некоего права, которое он утверждает сам, не спрашивая позволения «последних людей», с другой – сборище Сократиков, которых ужасает уже одна мысль о ницшевском смехе-динамите: «Ты говоришь – *подход, подход. Но, при талантливом подходе к данному предмету, сарказм исключается априори, он ни при чём*».<sup>1</sup>

Несмотря на единодушное мнение окружающих, Фёдор избирает смех, или его разбирает смех; он представляет своего героя на страницах *Чернышевского*, щёлкая русского Сократа по носу, насмехаясь над ним. Когда книга выходит в свет, разумно-тяжелые последователи афинского мыслителя всех мастей не могут не преследовать, улюлюкая, вечно смеющегося ницшеанского поэта Чердынцева.

Одним из них является Мортус-Адамович, – «*Mortuus*» по латыни означает «покойник», – нельзя не вспомнить главу *Заратустры*, названную «О потусторонниках». Мрачный, точно сама смерть, критик не способен к пониманию ни лёгкого пушкинского ямба,<sup>2</sup> ни злой персидской шутки, нафаршированной динамитом. Ницшеанец Набоков, следуя логике своего немецкоязычного воспитателя, неслучайно делает Мортуса чуть ли не слепцом (кстати, похожего тем и на Чернышевского), да к тому же (привет феминисткам!) – женщиной, пишушей от лица мужчины (вспомни, читательница, мужскую руку плоскоманской домохозяйки и целый батальон «неосвобождённых»<sup>3</sup> женщин из *Дара*): «...был в частной жизни женщиной средних лет, <...> страдавшей неизлечимой болезнью глаз...».<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 179.

<sup>2</sup> Там же. Т. 3. С. 271–272.

<sup>3</sup> «Ибо только тот, кто достаточно мужчина, освободит в женщине женщину» (Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 121).

<sup>4</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 151.

Смеясь, ницшеанец Набоков вынимает из колчана, друг за другом, все свои послушливые персидские стрелы с калёными наконечниками, выпустив их в дебелое тело очередного homo-socraticus'a, оставляет его корчиться в агонии, да изрыгать «разумные», мрачные сократизмы: *«Но мне кажется, – и не я один так чувствую, – что в основе произведения Годунова-Чердынцева лежит нечто, по существу глубоко бестактное, нечто режущее и оскорбительное... Его право, конечно (хотя с этим можно было бы поспорить), так или иначе отнестись к “шестидесятикам”, но “разоблачая” их, он во всяком чутком читателе не может не возбудить удивления и отвращения»*.<sup>1</sup>

Другой критик, встающий горой на защиту Чернышевского, – пражский профессор Анучин, о котором я уже упоминал. Ранее я также писал, что Набоков, подобно Ницше, не забывает отдать должное личной смелости своих недругов, начиная с главного из них: *«...никогда власти не дождалась от него [Чернышевского. – А. Л.] тех смиренно-просительных посланий, которые, например, унтер-офицер Достоевский обращал из Семипалатинска к сильным мира сего»*.<sup>2</sup> И это правильная политика для воина и расчётливого ницшеанского стратега: *«Враги у вас должны быть только такие, которых бы вы ненавидели, а не такие, чтобы их презирать. Надо, чтобы вы гордились своим врагом: тогда успехи вашего врага будут и вашими успехами»*.<sup>3</sup>

Не делает Набоков исключения и для Анучина – храброго перед лицом смертельной опасности, представленной, кстати, практическими реализаторами сократической доктрины: *«...это был тот профессор Анучин, который в 1922 году, незадолго до высылки, когда наганно-кожаные личности пришли его арестовывать, но, заинтересовавшись коллекцией древних монет, замешкались с его уводом, – спокойно сказал, указав на часы: господа, история не ждёт...»*<sup>4</sup> Но несмотря на личную храбрость, Анучин остаётся «теорети-

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Там же. С. 271.

<sup>2</sup> Там же. С. 260.

<sup>3</sup> Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Т. 2. С. 34.

<sup>4</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 272.

ческим» человеком. Ему просто невыносим злой, ницшеанский смех Фёдора, – как казанскому профессору ранее не по нутру было презрение Константина Кирилловича к так называемому Человеку<sup>1</sup>: «...господин Годунов-Чердынцев ядовито высмеива[ет] своего героя. Но издевается он, впрочем, не только над героем, – издевается он и над читателем»,<sup>2</sup> и далее: «Что же касается издевательств над самим героем, тут автор переходит всякую меру».<sup>3</sup>

Согласно Платону, поэт легкокрыл,<sup>4</sup> а потому, продолжает его ученик с Волчьего холма, чтобы поэт мог созидать, он должен стать иступленным.<sup>5</sup> Заратустра тоже поэт: «Но что же сказал тебе однажды Заратустра? Что поэты слишком много лгут? – Но и Заратустра – поэт».<sup>6</sup> Злой смех поэта, – лёгкий, уносящий его ввысь, в небеса, в обитаемое Музами преддверие того олимпийского чертога, откуда разъярённый Зевс некогда грозился сбросить золотую цепь бытия. Смех – это непобедимая сила поэта-одиночки, златокудрого зеленоокого ахейского героя, жаждущего сначала – единоборства, а затем – привязать тело побеждённого врага к колеснице (точно козачки тела Дубновских ляхов к конским хвостам) и, нахлёстывая по вороним взмыленным крупам, ещё и поглумиться над трупом неприятеля. Ибо нет прощения врагу ни на этом, ни на том

<sup>1</sup> «Был один казанский профессор, который особенно нападал на него [Константина Кирилловича. – А. Л.], исходя из каких-то гуманитарно-либеральных предпосылок, обличая его в научном аристократизме, в надменном презрении к Человеку, в невнимании к интересам читателя, в опасном чудачестве и ещё во многом другом» Там же. Т. 3. С. 102–103.

<sup>2</sup> Там же. Т. 3. С. 274.

<sup>3</sup> Там же. Т. 3. С. 274.

<sup>4</sup> «...поэт – это существо лёгкое, крылатое и священное; и он может творить лишь тогда, когда сделается вдохновенным и иступленным и не будет в нём более рассудка; а пока у человека есть этот дар, он не способен творить и пророчествовать» (Платон. *Ион*. V. 534 b. Там же. Т. 1. С. 138).

<sup>5</sup> «Поэтому поэзия – удел человека или одаренного, или одержимого: первые способны к душевной гибкости, а вторые – к иступлению» (Аристотель. *Поэтика* 1454 а // Собр. соч.: В 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 664).

<sup>6</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 91–92.

свете! – соглашается со мной молчаливая тень Теламонова сына и скрывается в глубоком Эребе!

Так страшитесь же жестокого смеющегося поэта, вы, Сократики, ибо смех творца – ваша смерть! Смех – это лёгкость поэта на поле битвы, помогающая ему уворачиваться, прыгая и вперёд и в стороны, от тяжёлых гоплитов, наступающих ровной колонной (так вошедшей в моду в демократических Афинах, изгнавших Диониса), и разить, нещадно разить врага! Смех для поэта – то же, что и хор для богов, он поддерживает в поэте вечную мощь. Вот как восхваляет смех златоуст-Заратустра; вот как льстит перс смеху, вырывающемуся из его чрева штормовыми волнами, бьющими в скалистый берег мира плясовым ритмом, под который издавна пляшет танцовщица-вселенная – танцовщица *сверх*таинственная, танцовщица *сверх*гибкая, танцовщица *сверх*смертоносная:

*«Заратустра танцор, Заратустра лёгкий, машущий крыльями, готовый лететь, манящий всех птиц, готовый и проворный, блаженно-лёгко-готовый – Заратустра вещей словом, Заратустра вещей смехом, не нетерпеливый, не безусловный, любящий прыжки и вперёд, и в сторону; я сам возложил на себя этот венец!»<sup>1</sup>*

Подобно лёгкокрылому поэту Заратустре, Фёдор подчиняется исключительно собственной инспирации. Этот творческий *сверх*беспредел не может прийти по вкусу Анучину, ибо он лишает пражского наследника Сократа остатков равновесия, жизненно необходимого всякому тяжёлому и негибкому диалектику. Вот как он, надувши и без того пухлявые губы, жалуется на Фёдора-ницшеанца: *«...как только читателю кажется, что, спускаясь по течению фразы, он наконец вплыл в тихую заводь, в область идей, противных идеям Чернышевского, но кажущихся автору положительными, а потому могущих явиться некоторой опорой для читательских суждений и руководства, автор даёт ему неожиданного щелчка, выбивает из-под его ног мнимую подставку...»<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 213.

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 274.

Фёдорову необходимо сопротивляться сократической среде – отстаивать своё право быть легкокрылым, смеющимся поэтом. А это так непросто, поверь мне, читательница! И всё-таки он выбирает риск и войну и решается опубликовать *Жизнь Чернышевского*, сознавая, что немало пройдёт времени, прежде чем покорившиеся теоретические человечки снова приоткроют дверь, которой он, подобно Заратустре, так громко хлопнул:

Ср. у Ницше: *«Ибо истина в том, что ушёл я из дома учёных, и ещё захлопнул дверь за собой»*.<sup>1</sup>

Ср. у Набокова: *«Я знаю, что вы меня не слушаетесь, но всё-таки (и Васильев, поморщившись от боли, взялся за сердце) я как друг прошу вас, не пытайтесь издавать эту вещь, вы загубите свою литературную карьеру, помяните моё слово, от вас все отвернутся»*,<sup>2</sup> – предупреждает Фёдора Васильев, хватаясь за свою мягкую журналистскую грудь; на что поэт отвечает: *«Предпочитаю затылки»*, – сказал Фёдор Константинович». <sup>3</sup>



Одно из главных качеств ницшеанского творца – перманентное состояние злобы. И персидский пророк воспевает злобу как наилучшее качество человека: *«Человек зол» – так говорили мне в утешение все мудрецы. Ах, если бы это и сегодня было ещё правдой! Ибо зло есть лучшая сила человека. «Человек должен становиться всё лучше и злее» – так учу я. Самое злое нужно для блага человека»*.<sup>4</sup>

Смеющаяся злоба поэта необходима Фёдорову для творчества, а потому во время работы над книгой он упражняется в ней, как в фехтовании или в панкратии. Так, наискучнее строки Маркса, – а какими ещё могут быть произведения немецкого наследника Сократа? – поэт Фёдор пе-

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 90.

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. С. 187.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. С. 208.

релагает в стихи, борясь таким образом с ужасной (вскоре ставшей убийственной для миллионов людей) скукой учения, и прибавляет в конце «поэтизированной» цитаты Маркса: *«Перевожу стихами, чтобы не было так скучно»*.<sup>1</sup> То есть Фёдор поступает прямо противоположно излишне разумному «анти-Гомеру» Сократу, который некогда намеренно пересказал прозой стихи *сверхпоэта*.<sup>2</sup>

Да и в другой раз, когда Фёдор сталкивается с русским мальчиком, подверженным отравляющему действию германской среды и охваченным меркантильным стремлением бесплатно заполучить ещё одну порцию знаний, то Фёдор и здесь противопоставляет этому немецкому качеству характера злое веселье Заратустры и язык России, мифической родины поэтов, куда он так мечтает вернуться: *«Спеша на следующую пытку, Фёдор Константинович вышел с ним вместе, и тот, сопровождая его до угла, попытался даром добрать ещё несколько английских выражений, но Фёдор Константинович, сухо веселясь, перешёл на русскую речь»*.<sup>3</sup>

Злобно, по-ницшеановски, издевается Фёдор и над «дурными европейцами». Пошляк, антисемит, роконосец, ипостась советского пушкиниста – Борис Щёголев – в звёздный час своих разглагольствований о «малой политике», разбирается на части, как механический манекен, воображением поэта Фёдора. И каждый кусок куклы Щёголева соответствует одному из терминов «малой политики»: *«Сейчас, слушая его [Щёголева. – А. Л.], Фёдор Константинович поражался семейному сходству именуемых Щёголевым стран с различными частями тела самого Щёголева: так, “Франция” соответствовала его предостерегающе приподнятым бровям; какие-то “лимитрофы” – волосам в ноздрях, какой-то “польский коридор” шёл по его пищеводу; в “Данциге” был щёлк зубов. А сидел Щёголев на России»*.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Набоков В. Дар. Т. 3. С. 220.

<sup>2</sup> Платон, Государство, III, 393 d–394 b. Т. 1. С. 175.

<sup>3</sup> *«На урок он норовил прийти всегда на несколько минут раньше и старался уйти на столько же позже»*. Набоков В. Дар. Т. 3. С. 144.

<sup>4</sup> Набоков В. Дар. Т. 3. С. 143.



пишет об оскорблениях, которым подвергается русский Сократ: *«Иными словами, автор на протяжении всей своей книги всласть измывается над личностью одного из честнейших, доблестнейших сынов либеральной России, – не говоря о попутных пинках, которыми он награждает других русских передовых мыслителей...»*<sup>1</sup>



Нельзя не отметить и других качеств, которые так необходимы каждому бойцу для ведения долгой войны и полного разгрома противника, а именно – выдержки и хладнокровия воина. Ницше даёт ещё один полезный совет воинам. Совет прост и в то же время трудновыполним, ибо для его выполнения необходимо немало силы воли, ведь нелегко сопротивляться гневу, который, как заметил еще Сократ (начитавшись Гомера без всякой пользы для себя), «слаще меда»<sup>2</sup>: *«Я люблю храбрых; но недостаточно быть рубакой – надо также знать, кого рубить! И часто бывает больше храбрости в том, чтобы удержаться и пройти мимо – и этим сохранить себя для более достойного врага!»*<sup>3</sup>

Не потому ли Заратустра так учтив с врагами, не заслуживающими внимания. *«Я вежлив с ними, как со всякой маленькой неприятностью; быть колючим по отношению ко всему маленькому кажется мне мудростью, достойной ежа»*,<sup>4</sup> пишет Ницше, несомненно вспоминая об иглах дикобразов зоолога Шопенгауэра. Заратустра остаётся вежливым даже с «обломками» человека: персидский пророк, проведший немало времени в отшельничестве, высказывает глубокую житейскую мудрость:

*«Но горбатый прислушался к разговору и закрыл при этом своё лицо; когда же он услышал,*

<sup>1</sup> Набоков В. Дар. Т. 3. С. 274–275.

<sup>2</sup> *«Нужно ли нам напомнить о гневе, который и мудрых в неистовство вводит, Много слаще, чем мед, стекает он в грудь человека, И об удовольствиях рыданий и тоски, примешанных к страданиям?»*

Платон, Филеб 47 е. Т. 3(1), С. 61.

<sup>3</sup> Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Там же. Т. 2. С. 151.

<sup>4</sup> Там же. Т. 2. С. 120.



что Заратустра смеётся, он с любопытством взглянул на него и проговорил медленно:

“Почему Заратустра говорит с нами иначе, чем со своими учениками?”

Заратустра отвечал: “Что ж тут удивительного! С горбатыми надо говорить по-горбату!”»<sup>1</sup>

Следуя этому совету, ницшеанец Фёдор бережёт свои силы для более достойного врага. Он учтив с жабой Марианной Николаевной: «...он [Фёдор Годунов-Чердынцев. – А. Л.] предложил пойти на угол, за такси. “Да, пожалуйста”, – сказала Марианна Николаевна, тяжело ринувшись к перчаткам на диване».<sup>2</sup> Фёдор вежлив и с её мужем – отвратительным горбуном Щёголевым: «Фёдор Константинович помог ему [Щёголеву. – А. Л.] (тот с вежливым восклицанием, ещё половинчатый, шарахнулся и вдруг, в углу, превратился в страшного горбуна)...»<sup>3</sup>



И если уж речь зашла о воинах и убийствах, то настало время дать ещё одну из версий происхождения названия романа *Дар*. А именно – предположить, что цель ницшеанца Набокова заключается в том, чтобы задаться, совместно со своим учителем Ницше, вопросом: «...не заслужил ли [Сократ. – А. Л.] своей *цикуты*?»<sup>4</sup>

И я возьму на себя смелость утверждать, что Набоков не только вопрошает, но и даёт ответ на этот вопрос, и ответ этот – положительный. Более того, Набоков сам становится убийцей Сократа и собственноручно вручает уродливому диалектику чашу с ядом.

Вот на чём основывается моё предположение: будущий англоязычный писатель Набоков неплохо владел языком Германии – страны, где он прожил 15 лет. «Любовь – любовью, а политика – политикой», как говаривал один знаменитый карди-

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 102.

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 321.

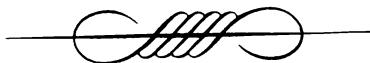
<sup>3</sup> Там же. Т. 3. С. 321.

<sup>4</sup> Ницше Ф. *По ту сторону добра и зла*. Там же. Т. 2. С. 240.

нал. Набоков мог не любить немцев, но язык Ницше и Гёте он знал во всех тонкостях, необходимых для превосходнейшего перевода отрывка из Фауста, которой Набоков делает в 1932 году.<sup>1</sup> А потому он не мог не знать, что английское слово *the gift* прочитывается по-немецки как «яд», *das Gift*.

Моя находка тесно связана с немецкой философской мыслью, а именно с учителем Ницше – Артуром Шопенгауэром. Ведь именно гданьский уроженец отметил в своём *Paralipomena* следующее: «Немецкое “Gift” (“яд”) – то же слово, что английское “gift” (“дар”), происходит от “geben” (“давать” (нем.)) и обозначает то, что дают: отсюда и “vergeben” (“отдать”, “отпустить” (нем.)) вместо “vergiften” (“отравить” (нем.))».<sup>2</sup>

Итак, набоковский роман – это яд [Gift], который ницшеанец преподносит [gibt] и Сократу, и его оптимистическому мировоззрению, и целому сонмищу разношёрстных наследников афинского мыслителя в придачу.



<sup>1</sup> Набоков В. *Посвящение Фаусту*. С. 330–331.

<sup>2</sup> Шопенгауэр А. *Paralipomena*. Там же. Т. 5. С. 446.





ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Посвящаю  
любвице  
моей жены







*Ты не должен грабить! Ты не должен убивать! – такие слова назывались некогда священными; перед ними преклоняли колена и головы, и к ним подходили, разувшись.*

*Но я спрашиваю вас: когда на свете было больше разбойников и убийц, как не тогда, когда эти слова были особенно священны?*

**Фридрих Ницше.** *Так говорил Заратустра*

Итак, можно с уверенностью утверждать, что, несмотря на многочисленные усилия, все эти маленькие люди, «дурные европейцы», «тупоумные и пустоголовые» социалисты, чудовища, рептилии и прочая оптимистическая братия, окружающая ницшеановского героя Набокова, не в силах помешать его созиданию. Он противопоставляет им смех, лёгкость, пинки, и, если уж на то пошло – безжалостно уничтожает их, – наконец, просто избегает отравляющего контакта с врагом, не считая своей обязанностью убийство слишком уж недостойных недругов.

Ницшеанец Набоков знает, что «*маленький человек вечно возвращается!*».<sup>1</sup> И он применяет мысль перса к собственному опыту вольного изгнанника из России, попавшей под власть сократовских идей: «*А в общем – пускай. Всё пройдёт и забудется, – и опять через двести лет самолюбивый неудачник отведёт душу на мечтающих о дольстве простаках...*»<sup>2</sup>

Набоков не может не задаться вопросом о цели существования этого маленького человека, подвластного кольцу вечного возвращения. Ведь было бы ужасно, если бы «последний человек» пришёл в мир лишь для того, чтобы, как и при-

---

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 159.

<sup>2</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 323.

стало духу тяжести, просто бременить Землю, которую поэт Заратустра, зовёт не иначе как лёгкая,<sup>1</sup> чтобы бесконечно путаться под ногами у пророка – доброго танцора.

Нет! – отвечает Набоков. – Есть другая, подлинная цель существования последних людей! Земля создана для избранных, для их созидания, которое происходит в борьбе, в битве, в радости безжалостного уничтожения. И когда поэт доказывает своё право на творчество, то, торжествуя над сократическим монстром, «подминая» его под себя, поэт использует его как материал для своего творчества. Именно в том, чтобы послужить материалом созидателю, и заключается единственная цель существования всех тех, кого Ницше не причисляет к касте строителей царства *сверхчеловека*.

Доказательство мы находим в *Даре* и в рассказе *Путеводитель по Берлину*. Рассмотрим же будущее, которое, по мнению Набокова, ожидает этого вечно возвращающегося маленького сократического человека.

Напомню, Щёголев в *Даре* – антисемит, дурной европеец и прообраз сократического учёного – поглощает пищу точно так же, как черепаха из *Путеводителя по Берлину*.

Ср. *Путеводитель по Берлину*: «И, конечно, нужно посмотреть, как кормят черепах. Эти тяжкие, древние роговые купола привезены с Галапагосских островов. Из-под пятипудового купола медленно (как задержанный снимок в кинематографе), с какой-то дряхлой опаской, высовывается морщинистая плоская голова и две ни на что не способные лапы. И толстым, рыхлым языком, чем-то напоминающим язык гугнивого кретина, которого вяло рвёт безобразной речью, черепаха, уткнувшись в кучу овощей, неопрятно жуёт листья».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> «Кто научит однажды людей летать, сдвинет с места все пограничные камни; все пограничные камни сами взлетят у него на воздух, землю вновь окрестит он – именем “лёгкая”» (Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Там же. Т. 2. С. 138).

<sup>2</sup> Набоков В. *Путеводитель по Берлину*. Т. 1. С. 339.

Ср. Дар: «...Значит, остаётся сиротой (продолжал он [Щёголев. – А. Л.], принимаясь за итальянский салат и необыкновенно грязно его пожирая)».<sup>1</sup>

А вот что, согласно Набокову, останется от самой рептилии из *Путеводителя по Берлину* по прошествии некоторого времени: «Но этот купол над ней, – ах, этот купол, – вековой, потёртый, тусклая бронза, великолепный груз времён...»<sup>2</sup>

Панцирь черепахи, сравниваемый с античной, «вековой» бронзой, символизирует не только круг вечного возвращения, коему всецело подвластны потомки Сократа. Пустой панцирь черепахи – это набоковская аллюзия на первый музыкальный инструмент – кифару.

Для доказательства моей мысли мне достаточно доказать факт превосходного знания Набоковым *Гомеровских гимнов*. В 1937 году, то есть в процессе работы над *Даром*, Набоков приезжает из Германии в Париж. Согласно признанию самого писателя, именно в столице Франции *Лолита* делает первую попытку появиться на свет из его ребра: «Первая маленькая пульпация Лолиты пробежала во мне в конце 1939-го или в начале 1940-го года, в Париже, на рю Буало, в то время, как меня пригвоздил к постели серьезный приступ межреберной невралгии»,<sup>3</sup> – а рождается в городе, носящем название острова, где царствовал Одиссей: «Девять лет спустя, в университетском городе Итака (в штате Нью-Йорк), где я преподавал русскую литературу, пульпация, которая никогда не прекращалась совсем, начала опять преследовать меня».<sup>4</sup> Я же возьму на себя смелость утверждать, что не только Лолита, но и Гумберт Гумберт был зачат в Париже.

В 1936 году во Франции публикуются *Гомеровские гимны*. Переводчиком и составителем издания является Professeur a l'Université de Paris

<sup>1</sup> Набоков В. *Дар*. Т. 3. С. 313.

<sup>2</sup> Набоков В. *Путеводитель по Берлину*. С. 339.

<sup>3</sup> Vladimir Nabokov, *Lolita*, Paris, Éditions de Gallimard, Traduit par E. H. Kahane, 1997, p. 493 // Набоков В. *Лолита*. Анн Арбор 1976. С. 289–290.

<sup>4</sup> Ibid, p. 494.



Jean Humbert.<sup>1</sup> Набоков так долго работал над *Гомеровскими гимнами*, – а древнегреческие отсылы *Лолиты* уже неоднократно отмечались до меня,<sup>2</sup> – фамилия французского эллиниста настолько запечатлелась в сознании писателя, что два десятка лет спустя стала фамилией отчима Лолиты. Решение Набокова ни в коей мере не было криптомнестическим – у таких *авторов нюансов*, как Ницше и Набоков, аполлоническая часть созидания происходит исключительно сознательно: бездельникам из венской делегации не остаётся даже хлебной крошки из бороды Лужина-старшего.

«*Ich bin eine nuance*», – Фридрих Ницше, восклицаящий по немецко-французски, на языке добрых европейцев, отсылает в главе «О великих событиях» к творчеству своего воспитателя Шопенгауэра. Именно Шопенгауэр много и увлеченно пишет об Юстинусе Кернере и его книгах.<sup>3</sup> И упоминая о Кернере в главе «Опыт духовности и о том, что с ним связано», Шопенгауэр ссылается на него как на авторитет в определённой области. В этой главе, начинающейся предницшевской критикой «слишком умных» столетий, речь идёт о ...привидениях: «*Привидения, которые в прошлое слишком умное столетие, вопреки прежним временам, повсюду подвергались не только изгнанию, сколько опале, за последние 25 лет, как уже раньше случалось с манией, вновь получили в Германии права гражданства*».<sup>4</sup>

Карл Юнг, приведя параллельно цитаты из *Так говорил Заратустра*, а также из *Листов из Префорста*, пишет следующее:

«*Как сообщила в ответ на мой запрос по этому поводу сестра писателя, Элизабет Фёрстер-Ницше, сам Ницше с удовольствием погрузился в работы Кернера в возрасте между 12 и 15 годами, когда бывал у своего дедушки, пастора Элера*

<sup>1</sup> См.: *Hymnes homériques*, Paris, Les Belles Lettres, traduit par Jean Humbert, 1976 (1936). См. также: *Гомеровы гимны*. М., 1995. Перевод Е. Рабинович.

<sup>2</sup> См.: Курганов Е. *Лолита и Ада*. Там же. С. 45–49.

<sup>3</sup> См.: Шопенгауэр А. *Мир как воля и представление*. Собр. соч. в 6 т. Т. 2. С. 212; Шопенгауэр. А. *Parerga*. Там же. Т. 4. С. 181, 199, 204, 213, 214, 220, 227, 228.

<sup>4</sup> Шопенгауэр А. *Parerga*. Там же. Т. 4. С. 168.

в Поблере, но позже никогда к ним не возвращался. Едва ли в намерения поэта входил плагиат из корабельного журнала, а если бы это и было так, то он, конечно, выбросил бы в высшей степени прозаическое и совершенно лишнее в данной ситуации место относительно “пострелять кроликов” (С какой это стати, Юнг!? Лопай свою консервированную говядину, но не мешай другим охотиться! – А. Л.). Очевидно, что в поэтическом изображении путешествия Заратустры в ад полусознательно или бессознательно возникло это забытое впечатление юности». <sup>1</sup>

Отдав должное воспоминаниям «антисемитской дуры» <sup>2</sup> и «патологической лгуньи» <sup>3</sup> Элизабет, Юнг продолжает настаивать на криптомнестической версии, отсылая читателя к строкам Ницше об экзальтации философа во время работы над Заратустрой: «Мы имеем здесь требуемый минимум ассоциативного присоединения, ибо трудно и представить себе более резкий прыжок: от старой, глуповатой сказки (Вот я и поймал тебя, «разумный» теоретический человек! – А. Л.) к мышлению Фридриха Ницше в 1883 году. Если же мы представим себе настроение Фридриха Ницше в момент сочинения Заратустры и вспомним об экстазах писателя, во многом напоминающих патологию (Вот и докатились, наиразумнейший, наинормальнейший премудрый пескарь Юнг! А ведь Ницше предупреждает таких, в самом названии Заратустры, что это книга явно не для тебя! – А. Л.), то эта ненормальная реминисценция станет нам понятна». <sup>4</sup>

Юнгу невдомёк, что экзальтация сверхпоэта, такого как Ницше (да и Набокова), – экзальтация чрезвычайно своеобразная. То, что Ницше называл «инспирацией» функционирует в строго определённых пределах, установленных в течение

<sup>1</sup> Юнг К. Г. *Ответ Иову*. М., 1998. С. 373–374.

<sup>2</sup> «antisemitischen Gans». Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Briefe Kritische Studienausgabe, Anfang Mai 1884*, “An Malwida von Meysenbug in Rom, Venezia”, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, de Gruyter, 1986, Band 6, p. 500 (перевод автора).

<sup>3</sup> Bock E. *Rudolf Steiner, Studien zu seinem Lebensgang und Lebenswerk*, Stuttgart, 1961, p. 155. Перевод автора.

<sup>4</sup> Юнг К. Г. *Ответ Иову*. Там же. С. 374.

длительного периода аполлонического созерцания. Он – как тот «*писатель высшего рода*» Шопенгауэра,<sup>1</sup> который, как и всякий другой добрый охотник, сначала огородит своё отъезжее поле, подождёт, пока осторожный хищник обоснуется там, а уж потом только выйдет «поохотиться» – *thèreysai*, как говаривал платоновский Сократ.<sup>2</sup> Такой охотник не полезет с ружьём на участок недалёкого соседа Эпиметея, где дичи нет. Он же ни в коем случае не погонится за зайцем, если ранее было решено затравить матёрого волка:

*«Можно также сказать, что есть три рода авторов. Во-первых, такие, которые пишут не думая. <...> Во-вторых, такие, которые думают в то время, как пишут Они думают, чтобы потом писать. Они и пишут, потому только, что раньше думали. Редки.*

*Писателя второго рода, который начинает думать только тогда, когда сядет писать, можно сравнить с охотником [И всё-то они про охоту, да про охотников – точно заговор какой-то против теоретического человека, грызущего пустые орехи в своём пыльном кабинете! – А. Л.], отправляющимся на авось: он вряд ли много принесёт домой. Напротив, писание автора третьего, редкого рода похоже на такую охоту, для которой дичь ловится и загоняется заранее, чтобы потом в изобилии быть выпущенной из загона в другое, тоже огороженное пространство [В «огороженное пространство»? Уж не выпускают ли дикого зверя в «рай», то есть в «Дар»? Ведь если по-древнеиндийски «рай», *gaṛis* переводится как «дар»; то тот же «рай» по-древнеирански «*rairi-daēza*» означает «огороженное место» – А. Л.], где ей уже не уйти от охотника, так что последнему остается только целиться и стрелять (излагать). Такая охота всегда что-нибудь да приносит».<sup>3</sup>*

Вспомним, что в главе *Заратустры* «О великих событиях», где прослеживаются поздние реминисценции из *Листов из Префорста*, также речь идёт о летающих тенях, бесах и дороге в ад.

<sup>1</sup> Шопенгауэр А. *Paralipomena*. Там же. Т. 5. С. 388–389.

<sup>2</sup> Платон *Филеб* 65 а // Там же. Т. 3(1). С. 83.

<sup>3</sup> Шопенгауэр А. *Parerga*. Там же. Т. 4. С. 168.

И исключительно для того, чтобы подчеркнуть связь духовидца Заратустры со своим собственном учителем, Шопенгауэром, Ницше пользуется «набоковским приёмом» введения цитаты уважаемого предшественника без кавычек.

Но на этом не заканчивается желание Ницше отдать должное Шопенгауэру и его вкусу к наивным – слишком наивным, не стоящим драгоценнейшего внимания очередного университетского профессора – сказкам.

В вышеупомянутой главе из *Parerga*, Шопенгауэр и ссылается на... книгу Кернера *Листы из Префорста*. «По этому поводу я обращаю внимание на одну подобную историю, из новейшего времени, которая заслуживает более точного исследования и лучшей обработки, чем очень плохо написанный рассказ о ней в Листах из Префорста (8-й сборник, с. 166). Она заслуживает этого как потому, что показания, относящиеся к ней, занесены в судебный протокол, так и ради того в высшей степени замечательного обстоятельства, что явившийся дух в течении нескольких ночей не был виден тем лицом, с которым у него была связь и перед постелью которого он показывался (женщина эта спала), а виден был лишь двумя ее товарищами по заключению: только потом предстал он и перед нею самой, и тогда она добровольно созналась в семи отравлениях».<sup>1</sup> В Заратустре речь идёт ещё и о массовом «спиритическом» сеансе («Но около полудня, когда капитан и люди его снова собрались вместе, увидели они вдруг человека, идущего к ним по воздуху, и какой-то голос сказал явственно: “Пора! Давно пора!” Когда же видение было совсем близко к ним – оно быстро пролетело мимо них, подобно тени, в направлении, где была огненная гора, – тогда узнали они, к величайшему смущению, что это – Заратустра; ибо все они уже видели его, за исключением самого капитана, и любили его, как любит народ: мешая поровну любовь и страх»<sup>2</sup>), и о беседе пророка с огненным псом, которому перс так по-детски и так

<sup>1</sup> Шопенгауэр А. *Parerga*. Там же. Т. 4. С. 220.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 2. С. 94.

пророчески замечает: «*сердце земли из золота*». <sup>1</sup> А в конце главы Ницше настаивает на своей охотничьей сказке-шутке о кроликах, чтобы насмеяться над разумным, а потому не видящим дальше собственного носа сократическим человеком: «*Но ученики его едва слушали его: так велико было их желание рассказать ему о людях с корабля, о кроликах и о летающем человеке*». <sup>2</sup>

Это был ещё один необходимейший для моей «невозможной» книги пример того, как легкокрылое, а потому самое близкое к богам поэтическое видение (мое видение, читательница!) оставляет в дураках тяжеленного, увенчанного сократическими лаврами, да увешанного веригами университетских регалий, излишне разумного Юнга. *Sim omnes patres sic, at ego non sic*. А всё, что верно для Ницше, верно и для его последователя Набокова.

Автор *Лолиты* намеренно выбирает для своего героя фамилию французского эллиниста Гумберта. Вспомним, что когда профессор Гумберт перевёл на французский *Гомеровские гимны*, то они были опубликованы в двуязычном франко-древнегреческом издании «Guillaume Budé, Belles Lettres». Набоков читал книги этого парижского издательства. Через 14 лет после публикации *Лолиты*, в романе *Ада, или Страсть*, Набоков устами Ван Вина заявляет Люсетт о том, что факт существования упомянутого выше издательства, специализирующегося на параллельных переводах, ему известен: «*Читала, дорогуша, в литературном французском переводе с параллельным греческим – не так ли?*» <sup>3</sup>

Вернёмся к *Гомеровским гимнам* и рассмотрим, как они описывают изобретение первого музыкального инструмента – кифары: Гермес, весело смеясь, находит черепаху, убивает ее, выдирает из панциря мясо и натягивает на панцирь семь струн. <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. С. 96.

<sup>2</sup> Там же. С. 96.

<sup>3</sup> «You read it, dear, in the literal Franch translation with the Greek *en ragard* – didn't you? ...». Nabokov V. *Ada, or ardor: A family chronicle*. New York, First Vintage International Editor, 1990, p. 384. Набоков В. *Ада, или Страсть*. Там же. С. 362.

<sup>4</sup> *Hymnes homériques, Hymne a Hermès*, v. 25–53, Paris, Les Belles Lettres, traduit par Jean Humbert, p. 117–119.

Итак, изобретателем кифары является именно Гермес, бог-вор, символизирующий собой преступление *par excellence*: «...разбойник, угонщик быков, проводник снов, ночной соглядатай...» А набоковский герой Фёдор Годунов-Чердынцев как истинный поэт не мог не чувствовать свою близость бандиту Гермесу и преступнику Заратустре. Не потому ли, противниками вора Фёдора, якобы таскающего хозяйский сахар («...а когда Щёголева вошла в столовую, то получилось так, словно он [Федор – А. Л.] крал сахар из буфета»<sup>1</sup>), становятся, как бы ненароком, люди, принадлежащие к миру репрессивного и юридического аппарата, например бывший прокурор Щёголев и адвокат Чарский.

Далее, из Гомеровского гимна мы узнаём, что, обокрав Аполлона, Гермес сводит знакомство с дельфийским богом и затем дарит ему сделанную из панциря черепахи кифару: «Я дам тебе эту лиру, благородный сын Зевса <...>. Сказав это Гермес протянул ему кифару. Феб принял ее, давши Гермесу блестящий бич, позволив ему сторожить быков».<sup>2</sup> Так ещё раз доказывается верность Гераклитовой мысли о том, что именно в противостоянии, в битве рождаются все «добрые» вещи, все сверхвещи.

Созданная Гермесом кифара, оказавшись собственностью Аполлона, становится воплощением «аполлонической» музыки: «Музыка Аполлона была дорической архитектуроникой в тонах, но в тонах, едва означенных, как они свойственны кифаре»,<sup>3</sup> т. е. музыке созерцательной стадии творчества, которая в свою очередь является необходимым ингредиентом для наипорочнейшего зачатия духа трагедии.

Более того, согласно фразе Гераклита, так и оставшейся непонятой одним из собеседников Сократа, принцип действия лиры является и принципом действия лука: «Они не понимают, как враждебное находится в согласии с собой: перевер-

<sup>1</sup> Набоков В. Дар. Т. 3. С. 163.

<sup>2</sup> *Нутнес homériques*, vv. 489–492, 497–499, traduit par Jean Humbert, p. 136.

<sup>3</sup> Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Там же. Т. 1. С. 65.

*нутое соединение (гармония), как лука и лиры».*<sup>1</sup> Натянутый лук, по мнению Ницше, символизирует трагический дух.



В приведённой выше фразе *Путеводителя по Берлину* Набоков хочет выразить «доброе» ницшеановское видение созидания. Сократический монстр – эдакая тяжёлая и уверенная в собственной безопасности рептилия – вылезает из укрытия пожевать травки и капустных листков. Тут-то она и становится жертвой преступника-творца. Он по своей сущности вовсе не кровожаден. Нет! Он, подобно Гермесу, по-ребячески весел и лёгок. Именно в своей блаженно-невесомой жажде дионисической пляски, переполненный непорочным духом своей мудрости, совершает создатель это убийство, вырывает мясо сократического чудовища и, натянув на панцирь струны, делает из рептилии музыкальный инструмент, дарующий сладчайшие звуки – только так Ницше, Набоков и я видим подлинное *творчество*. Оно – пляска мальчишки надувшего самого Гомера, смех во всё горло, невинное убийство, а вовсе не Кьеркегоры муки в брюхе сицилийского быка!<sup>2</sup>

И ежели упомянутый поэт, согласно выражению Ницше, *удался* – он способен пройти, подобно Чердынцевым (отцу и сыну) европейскую, *сверхевропейскую*, *сверхазиа́тскую* стадии и выжить в многочисленных схватках, у него достанет творческого жара, чтобы растопить лёд азиатской реки, сковавшей дикого яка, Диониса, то есть освободить бога и вернуть, таким образом, дух трагедии отчаявшемуся в своём ожидании, тощему, словно тень, европейцу.



<sup>1</sup> Hermann Diels, Walther Kranz, *Fragmente der Vorsokratiker*, 51 [45. Vgl. 561], Berlin-West, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung. 1951, t. 1, p. 162.

<sup>2</sup> Датский философ сравнивает поэзию со звуками флейты, приданной к ноздрям бронзового быка, внутри которого по приказу Фалариса, тирана Агрижента, изжаривали его противников. Сёрен Кьеркегор несомненно узнал об этом из книги Лукиана *Фаларис*.

PARERGA

■  
Посвящаю

Маргарите

Царфати







*«Быть может, существует область мудрости, из которой логик изгнан?»*

*Быть может, искусство – даже необходимый коррелят и дополнение науки?»*

**Фридрих Ницше.**

*Рождение трагедии из духа музыки*

Я уже хотел было завершить на прекрасной фразе мою работу, но мне подумалось следующее: я так долго занимался Ницше и его последователем, Набоковым, и столько о них написал в этой книге – хитром капкане, куда попадётся не один истощенно визжащий сократический монстр, – почему бы мне не продолжить дальше их мысли? Почему бы не продолжить то, что было так *здорово* и *по-доброму* начато? После смерти Набокова в самом сердце Старой Европы скоро минет добрых три десятка лет, и много воды утекло в той гераклитовой реке, в которую нельзя войти дважды. Настало время дописать концовку этой ницшеанско-набоковской философской эпопее. Итак, читательница, навести свои тонкие Ариадновы ушки.

Многие мои предшественники, занимавшиеся историей переселения народов по Евразии, уже давали этому феномену занимательные объяснения. Я же не отнимаю у самого себя право проанализировать передвижение народов не только как философ, но и как поэт и как артист. Более того, я утверждаю, что осуществить подобную задачу, можно, лишь будучи артистом, что подразумевает остальные неотъемлемые и взаимодополняющие друг друга качества поэта, воина и пророка. Таким артистом, например, был Фридрих Ницше, который в предисловии к своей «дерзкой книге» призывает избранного читателя *«...взглянуть на*

науку под углом зрения художника, на искусство же – под углом зрения жизни...»<sup>1</sup>

Более того, я прошу у тебя, читательница, о необходимейшем и огромнейшем усилии, забудь все те «политкорректные» стереотипы и «lieux communs», которыми сторонники эгалитаризма и так называемой «демократии» безнаказанно орудуют в течение уже более чем полувека.



Человек, изобретши письменность, попал под влияние дошлого племени историков. Но как бы глубоко они ни рыли, наступает период, когда всякий честный историк вынужден поставить точку в своих изысканиях, а это означает, что он докопался до времени, когда Филира ещё не разродилась Паламедом, когда люди ещё не знали письменности. Вместе с тем трудно представить, что человек приобретает всё своё богатство и таинственность всего лишь пять с половиной тысячелетий назад. Более того, и да простят мне это откровение, самое великое и таинственное произошло за этой мистической завесой – в те времена, когда человек был с богами накоротке. Изумлённые боги, остановивши свой кортеж, удивленно (подобно Винову семейству на пикнике) поглядывали на оказавшееся рядом с ними странное, беспокойное животное, лишённое лоботрясом Эпиметеем шерсти, клыков и когтей.

Вот тут учёный бессилён! И наступает черёд поэта заглянуть за эту секретнейшую завесу. Держись крепче за мою ладонь, читательница, заглянем по ту сторону тайны! Путь лежит через высокорье *Parerga und Paralipomena* Шопенгауэра.

Медленно и с большим трудом чернокожий от природы человек «восходил» к северу, как сказал бы, глядя на неистовое течение Рейна, воспитатель Фридриха Ницше, раздавивши при этом надоедливого клопа на пахнувшей смолой и корицей скамье, приютившейся среди спелых виноградных лоз: «Только между тропиками человек у

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 50. Курсив Фридриха Ницше.

себя дома, а там он всюду чёрный или чёрно-коричневый; лишь в Америке – не повсеместно, ибо эта часть света, по большей части, была населена народами с выцветшей уже кожей, преимущественно – китайцами. Однако же и там, у дикарей бразильских лесов, кожа – тёмно-коричневая».<sup>1</sup> И ещё разок – чтобы подёргать за нос полковника кавалерии Жака Ширака, а за усы – политкорректных матрон, почитывающих «*Monde*» и преподающих в наших университетах: «Ближайшую физическую причину этого обесцвечивания кожи у изгнанного из своей естественной родины человека я предполагаю в том, что в жарком климате свет и теплота вызывают медленное, но непрерывное раскисление в *rete Malpighi* углекислоты, выделяющейся у нас через поры в неразложенном виде, вследствие чего она отлагает там столько угля, что его вполне достаточно для окраски кожи; специфический запах, издаваемый неграми, вероятно, находится в связи с этим».<sup>2</sup>

И по мере этой, ведущей к северу, человеческой Одиссеи кожа светлела, глаза становились голубыми, а кудри – белыми, как волосы Мелеагра, – продолжает неполиткорректный Шопенгауэр: «Только спустя долгое время после того, как человек стал распространяться за пределы тропиков, этой единственной естественной родины своей, и род его расселился в более холодных поясах, он начал светлеть и, наконец, белеть».<sup>3</sup>

Так произошло некогда и с персами – наилучшими представителями «кавказской расы»,<sup>4</sup> дав-

<sup>1</sup> Шопенгауэр А. *Paralipomena*. Там же. Т. 5. С. 123.

<sup>2</sup> Там же. Т. 5. С. 123. Однажды Жак Ширак, будучи ещё в чине мэра знойного города Лютеции, посетивши субсидируемые французской республикой краснокирпичные «хрущёвки», занимаемые выходцами из Мали и их многочисленными жёнушками, заявил о «своеобразном запахе», источаемом этими семьями. Кто бы мог подумать, что наш президент так хорошо знаком с философским наследием Шопенгауэра!

<sup>3</sup> Там же. Т. 5. С. 123.

<sup>4</sup> Шопенгауэр А. *Paralipomena*. Там же. Т. 5. С. 122. Употребляя этот термин, пожалуй, лучше спрятаться за широкую спину Шопенгауэра, про которого Владимир Набоков уважительно писал: «[Чернышевский. – А. Л.] Пренебрежительно и развязно суд[ил] о Шопенгауэре, под критическим ногтем которого его философия не прожила бы и секунды...» (Набоков В. Дар. Т. 3. С. 221).

шим впоследствии своё имя Персии. И там, на Востоке, высоко на Гималайских плоскогорьях расцвела однажды арийская цивилизация.

Шопенгауэр даёт прекраснейший образ развития речи обитателя Евразии. Для Шопенгауэра язык евразийца подобен чудеснейшему цветку, который после долгого и трудного роста наконец-то созревает, а его раскрывшийся бутон – санскрит – высшее лингвистическое достижение кавказской расы. После расцвета, постепенно, но неумолимо это растение начинает увядать: древнегреческий язык – латинский – германские языки... чтобы затем окончательно иссохнуть и упасть в грязь, – и то, что служит средством общения в современных Американских Штатах, прекрасно иллюстрирует мысль философа: *«Как известно, языки, особенно в грамматическом отношении, тем совершеннее, чем они старше, и, начиная с совершенства санскритского языка, постепенно становятся всё хуже, опускаясь наконец до английского жаргона, облегающего мысль в одежду из самых разных лоскутов. <...> жизнь языка подобна жизни растения, которое, постепенно развиваясь из простого ростка, а затем невзрачного всхода, наконец достигает наивысшего развития и с этого момента, старея, постепенно снова идёт к низу, и что мы знаем его, язык, только уже в его упадке и ничего не знаем о его прежнем росте»*.<sup>1</sup>

Я продолжу мысль Шопенгауэра, своего учителя (или «воспитателя», как писал Ницше<sup>2</sup>), и сравню образ этого постепенно созревающего цветка с самой историей лучшего представителя евразийских народов.

Долго тянется к солнцу стебель арийского племени. Наконец появляется закрытый бутон. Проходит ещё время, и цветок раскрывается. Цветение это прекрасно и подобно краткому взрыву; а за ним неотвратимо следует долгое увядание, после чего цветок оказывается в грязи. Исключительно для этого недолговечного расцвета и живут сотни

<sup>1</sup> Шопенгауэр А. *Paralipomena*. Там же. Т. 5. С. 435–436.

<sup>2</sup> *«Я принадлежу к тем читателям Шопенгауэра, которые, прочитав одну его страницу, вполне уверены, что они прочитают всё, написанное им, и будут слушать каждое сказанное им слово»* (Friedrich Nietzsche, *Unzeitgemäße Betrachtungen III, Schopenhauer als Erzieher* 2 in *Sämtliche Werke*, München, 1999, t. 1, p. 346). См. также: Ницше Ф. Собр. соч. в 2 тт. Т. 1. С. 8.

поколений и миллиарды людей. Однажды такое цветение и увядание уже произошло на Востоке, после чего арийцы покинули свои горы и устремились на Запад. Малочисленное, но хорошо организованное и более приспособленное к войне белокурое арийское племя<sup>1</sup> силой обосновалось на земле, которая через много лет после Троянской войны была названа Элладой.<sup>2</sup> Вот как Ницше продолжает мысль, которую Шопенгауэр ранее высказал в *Parerga und Paralipomena*: «В слове *κακός*, как и в *δειλός* (плебей в противоположность *ἀγαθός*), подчеркнута трусость: это, по-видимому, служит намёком, в каком направлении следует искать этимологическое происхождение многозначно толкуемого *ἀγαθός*. В латинском языке *malus* (с которым я сопоставляю *μέλας*) могло бы характеризовать простолюдина как темнокожего, прежде всего как темноволосого («*hic niger est*»), как доарийского обитателя италийской почвы, который явственно отличался по цвету от возобладавшей белокурой, именно арийской расы завоевателей; по крайней мере, галльский язык дал мне точно соответствующий случай – *fin* (например, в имени *Fin-Gal*), отличительное слово, означающее знать, а под конец – доброго, благородного, чистого, первоначально блондина, в противоположность тёмным черноволосым аборигенам».<sup>3</sup>

Там, в Греции, в благодатном климате, на берегу Эгейского моря началось новое созревание и новый долгий рост прекраснейшего из цветков: «Вместе с тем на территории самой Греции дорийцам, как настоящим варварам, пришедшим с севера, понадобилось немало времени, чтобы смягчить свои нравы в процессе общения с автохтонами под более светлым и мягким небом».<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Не случайно слово «*Arjuna*» означает по-древнеиндийски не только «белый» и «светлый», но также и идеального воина, – напомню, что «*Arjuna*» лежит в основе имени Арджуна, сына Индры и Кунти, покорителя четырёх стран света, умершего и похороненного в Гималаях.

<sup>2</sup> См.: Thucydide, *La guerre du Péloponnuse I*, Paris, 2000, Éditions Gallimard, p. 37.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *К генеалогии морали*. Там же. Т. 2. С. 419.

<sup>4</sup> «*D'autre part, dans la Grèce propre, les Doriens, en véritables barbares venus du Nord, durent prendre le temps de se polir sous un ciel plus clair et plus doux au commerce des autochtones. Cela tint quelques siècles jusqu'à la naissance d'Homère*». Charles Maurras, *Anthinea*, Paris, Librairie Honoré et Édouard Champion Éditeurs, 1912, p. 43. Перевод автора.

Моррасу вторит Шопенгауэр: «*Имя пеласги, без сомнения, родственное слову пелагус – общее название для разных вытесненных или заблудившихся маленьких азиатских племен, которые первыми перебрались в Европу. Здесь они вскоре совершенно позабыли культуру, предания и религию родины, а взамен под счастливым воздействием прекрасного, умеренного климата и хорошей почвы, а также приморского положения Греции и Малой Азии самостоятельно под именем эллинов достигли вполне согласного с природой развития и чисто человеческой культуры, причем в таком совершенстве, какое более уже нигде и никогда не встречалось*».<sup>1</sup>

И вот наступает эпоха, для изучения которой у исследователя есть неоспоримое преимущество перед артистом, – она знакома нам благодаря письменным источникам. А значит, и мы с внимательной читательницей, чьи пальчики уже потеплели в моей ладони и весело шевелятся в такт еле слышной, но мощной мелодии, мы сможем узреть и оценить распустившийся в Греции цветок. Итак, что же он собой представляет?

Долго, в течение многих веков зреет это растение, пламя воинственных пришельцев, названные в Греции дорийцами<sup>2</sup> и наконец в VI веке происходит зачатие трагедии, которая достигнет своего расцвета позже, вместе с Эсхилом и Софоклом. Именно их драмы и становятся новым симптомом редчайшего и случайнейшего, а потому и самого аристократического расцвета кавказской расы, – недаром Ницше говорит в *Заратустре* (а ваш покорный слуга никогда не устанет размахивать пилатовым плащом перед мордами мычащих диалектиков): «*Случай – самая древняя аристократия мира*».<sup>3</sup> Залогом же не только создания, но и адекватного восприятия этих трагедий сатиром-хоревтом и зрителем является то состояние человека, которое я назову пост-дионисической протрацией («...в дионисическом опьянении и мистическом са-

<sup>1</sup> Шопенгауэр А. *Paralipomena*. Там же. Т. 5. С. 312–313.

<sup>2</sup> Троянская война закончилась в 1157 году до н. э., и Фукидид утверждает, что дорийцы окончательно оккупировали Пелопоннес только через восемьдесят лет после взятия Трои. Эти сведения, вряд ли, можно назвать абсолютно точными. См.: Thucydide. Op. cit., p. 43.

<sup>3</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Там же. Т. 1. С. 118.

моотчуждени, одинокий, где-нибудь в стороне от бузумствующих и носящихся хоров, падает он, и вот аполлоническим воздействием сна ему открывается его собственное состояние, т. е. его единство с внутренней первоосновой мира в символическом подобии сновидения»,<sup>1</sup> которое в свою очередь становится воплощениями дионисической креативности, т. е. созиданием, зависимым от божества, и которое я охарактеризовал бы как некую субстанцию, связывающую поэта, наиболее близкого к богам человека, одновременно и с космосом, и с недрами планеты. Дух, порождённый Дионисом, «нисходит» на поэта. Происходит слияние поэта с дионисической субстанцией, в результате чего на свет появляется абсолютно новое, доселе неизвестное существо, некая сверхчувствительная струна, вибрирующая от потоков, циркулирующих между Землёй и вселенной. Пушкину была известна эта особенность созидания. «Когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение), то он запирался в своей комнате и писал в постеле с утра до позднего вечера, одевался наскоро, чтоб пообедать в ресторации, выезжал часа на три, возвратившись, опять ложился в постелю и писал до петухов. Это продолжалось у него недели две, три, много месяцев, и случалось единажды в год, всегда осенью. Приятель мой уверял меня, что он только тогда и знал истинное счастье»,<sup>2</sup> – так описывает Пушкин осеннюю пенетрацию творца.

Необходимо заметить, что Ницше, однажды задумавшийся над проблемой Диониса и трагедии, не изобрёл ничего нового, или, точнее сказать, почти ничего нового. Но в этом почти – в этом нюансе и заключается то наиважнейшее, что высказал человек за последние два тысячелетия: Ницше настолько вжился в образы Эллады, что ещё раз, только уже по-немецки, выразил нам то, что завещала нам Греция. И его философия есть не что иное, как пляска-пирриха<sup>3</sup> «белокурого»

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 63. Курсив Фридриха Ницше.

<sup>2</sup> Пушкин А. Указ. соч. Т. 3. С. 345.

<sup>3</sup> «Воинственную же пляску, противоположную мирной, правильно было бы назвать “пиррихой”» (Платон. *Законы* VII, 815 e. Там же. Т. 3 (2). С. 296).



эллинического воина в полном вооружении над мглой столетий «темнокожей»<sup>1</sup> варварской мысли. Единственное и наиглавнейшее нововведение Ницше в историю человеческой мысли – понятие о *сверхчеловеке*. Так назвал Ницше то, что я выразил выше, а именно – состояние человека, наследника десятков поколений избранной расы, когда он сливается с Дионисом и вибрирует, словно натянутая между Землёй и космосом тетива. Следовательно, Эсхил, сочиняющий своего *Прометея*, равно как и Софокл, пишущий *Эдипа*, они оба являются этими *сверхструнами*, а их творчество и есть долгожданное распускание прекраснейшего цветка арийского племени.

Изложенное выше даёт возможность заключить, что первое, или азиатское, цветение арийской культуры произошло также благодаря Дионису. Ведь однажды бог уже пришёл туда с Запада и завоевал Индию. «*До Александра, согласно давней и широко известной традиции, Дионис предводительствовал завоеванию индийцев и подчинил их себе*»,<sup>2</sup> – пишет Арриан. Тот же Арриан даёт дату этого завоевания – 64 век до нашей эры, дату, которую современные исследователи не могут не признать приблизительной<sup>3</sup>: «*Считая с завоевания Диониса до Сандракотта у индийцев было 153 царя, и с тех пор минуло 6042 года*».<sup>4</sup> Следовательно, это Дионис дал индийцам седьмого тысячелетия до нашей эры дух трагедии и оставил им в цари своего соратника и самого совершенного вакханта – Спатембаса, чей сын Будда продолжил властвовать над Индией: «*Когда он [Дионис. – А. Л.] покинул Индию, устроив там всё по-своему, он устроил там царём Спатембаса – самого посвящённого из своих спутников в вакхическое таинство. После смерти Спатембаса его сын Бодияс наследовал власть*».<sup>5</sup>

<sup>1</sup> См.: Ницше Ф. *К генеалогии морали*. Там же. Т. 2. С. 419.

<sup>2</sup> Arrian, *Inde*, Paris, Éditions des Belles Lettres, p. 29.

<sup>3</sup> Ibid, p. 33.

<sup>4</sup> Сандракотт – противник Александра в Индии (См.: Плутарх) жил в первой половине 4-го века до н. э. По мнению Арьяна, нашествие Диониса в Индию предшествовало войнам Александра на 6042 года. Следовательно, произошло в 64-м веке до н. э. И эллинист Пьер Шантрэн подчёркивает невозможность установления точной даты См.: Pierre Chantraine, Note in: Arrian, *Inde*, Paris, Éditions des Belles Lettres, 1968 (1927), p. 33.

<sup>5</sup> Arrian. Op. cit., p. 33.

Однажды, в ту недоступную «сократическому» изучению эпоху, бог трагедии внезапно покидает арийцев; после чего они устремляются вслед за покинувшим Индию Дионисом в Европу, и бог приводит их «назад в трагедию», т. е. в Грецию.

Одно из первых критских упоминаний о Дионисе датируется XIV веком до н. э. Будучи Загреем, древний, «дотроянский», пришедший из Индии Дионис был разорван титанами,<sup>1</sup> а в VIII веке «народный артист» Эллады Гесиод, перелагает в стихи прекрасно знакомую своим современникам легенду о дважды родившемся боге.<sup>2</sup> Прочное же установление культа Диониса в Греции произошло в VII веке.<sup>3</sup> А это означает, что, указав дорогу тем, кого впоследствии назовут дорийцами, бог ещё долго рыскал по окрестностям Эгейского моря, чтобы хорошенько убедиться в благодатности выбранного им места.

После кратчайшего периода расцвета дионисической субстанции в Греции снова наступает увядание трагического цветка, вызванное деятельностью «разумного» диалектика Сократа<sup>4</sup> и его «маски» – Еврипида.<sup>5</sup> Они изгоняют Диониса с аттической сцены,<sup>6</sup> и вместе с тем – из Греции.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Нонн Панополитанский. *Песни о Дионисе*, VI, 204–206.

<sup>2</sup> Гесиод. *Теогония*, vv. 940–942.

<sup>3</sup> Pauly–Wissowa *Real Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft*. Stuttgart. 1903, vol. 5, p. 1011.

<sup>4</sup> «...то, что мы можем теперь ближе подойти к эстетическому сократизму, верховный закон которого гласит приблизительно так: “Всё должно быть разумным, чтобы быть прекрасным” – как параллельное положение к сократовскому: “Лишь знающий добродетелен”. С этим каноном в руке Еврипид измерял каждую частность и направлял её сообразно этому принципу – язык, характеры, драматургическое построение, хоровую музыку» (Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 104. Курсив Фридриха Ницше).

<sup>5</sup> «И Еврипид был в известном смысле только маской: мужество, говорившее его устами, было не Дионисом, не Аполлоном также, но некоторым во всех отношениях новорождённым демоном: имя ему было – Сократ» (Там же. Т. 1. С. 102).

<sup>6</sup> «Дионис <...> был прогнан с трагической сцены <...> некоторой демонической силой, говорившей через Еврипида» (Там же. Т. 1. С. 102).

<sup>7</sup> Не оттуда ли ему, согласно Ницше некогда предстоит вернуться?: «Имейте только мужество стать теперь трагическими людьми: ибо вас ждет искупление. Вам предстоит сопроводить торжественное шествие Диониса из Индии в Грецию! Готовьтесь к жестокому бою, но верьте в чудеса вашего бога!» Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 138–139.

И как следствие, Афины попадают под власть демократии, чья роль заключается, по мнению проницательного Морраса, в молниеносном сжигании того богатства, которое создавали поколения аристократов (т. е. до распускания эсхило-софокловского бутона): *«Мой друг Морис Баррес публично высказал удивление, что я привёз с собой из Атики столь сильную ненависть в демократии. Но даже если бы современная Франция не внушила бы мне подобное чувство, я бы его почерпнул из истории древних Афин. Краткая судьба того, что в древности называлось демократией, дала мне возможность прочувствовать, что суть этого режима заключается исключительно в том, чтобы мгновенно растратировать всё то, что создала аристократическая эпоха»*.<sup>1</sup>

Итак, прекраснейший цветок кавказской расы снова падает в грязь, и, как это уже было однажды на Востоке, наступает долгий период власти чандал. Европейский человек дегенерирует, окончательно «осокращивается» через так называемые равенство, демократию, и неотвратимо следующую за ними тиранию тех, кого Ницше называл *«сволочь[ю] социалистическ[ой], апостол[ами] чандалы»*.<sup>2</sup>

Философ описывает ужасающие последствия разрыва Диониса с европейским человеком. Держись, читательница! *«Кельты, между прочим, были совершенно белокурой расой; напрасно тщатся привести в связь с каким-то кельтским происхождением и примесью крови те полосы типично темноволосого населения, которые заметны на более тщательных этнографических картах Германии, что позволяет себе ещё и Вирхов: скорее, в этих местах преобладает доарийское население Германии. (Аналогичное сохраняет силу почти для всей Европы: главным образом покорённая раса именно здесь окончательно возоблала по цвету, укороченности черепа, быть может, даже по интеллектуальным и социальным инстинктам: кто поручился бы за то, что современная*

---

<sup>1</sup> Carles Maurras, *Anthinea*, Paris, 1912, p. VI, Перевод автора.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Антихрист*. Там же. Т. 2. С. 686.

демократия, ещё более современный анархизм и в особенности эта тяга к “соттипе”, к примитивнейшей форме общества, свойственная теперь всем социалистам Европы, не означает, в сущности, чудовищного рецедива – и что раса господ и завоевателей, раса арийцев, не потерпела крах даже физиологически?..)»<sup>1</sup>



Подведём итоги: из выше доказанного следует, что именно Дионис является не только необходимым ингредиентом для того, чтобы избранный человек превратился в сверхмощную созидательную струну, но и тем солнцем, к которому тянутся лучшие представители избранных народов.

Но что же происходит, когда дионисическая субстанция исчезает? Тогда человек, способный к единению с богом, – «высший человек», как назовёт его в *Заратустре* Ницше, – сиротеет и тотчас принимается инстинктивно искать пропавшего Диониса.

Дионис – божество *сверхевропейское*, *евроазиатское*, и даже – *сверхазиатское*. Ему приходилось бывать и на Крите,<sup>2</sup> и во Фригии,<sup>3</sup> и в Африке,<sup>4</sup> и у индийцев.<sup>5</sup> И именно назад в Индию, обратно на родину арийцев, скрывается из Греции Дионис.<sup>6</sup>

«Война (Подемос) – отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других – людьми, одних творит рабами, других – свободными».<sup>7</sup> Так считал Гераклит, которого Ницше признавал наи-

<sup>1</sup> Ницше Ф. *К генеалогии морали*. Т. 2. С. 419–420.

<sup>2</sup> Diodore de Sicile, *Bibliothèque historique*, III, LXXIII, Paris, Belles Lettres, 1989, p. 117.

<sup>3</sup> Nonnos de Panopolis, *Les Dionysiaques*, VI, 155–388, Paris, Belles Lettres, 1994, p. 34.

<sup>4</sup> Diodore de Sicile, *Bibliothèque historique*, III, p. 117.

<sup>5</sup> См.: Arrian, *Inde*, Paris, Éditions des Belles Lettres.

<sup>6</sup> Не оттуда ли ему, согласно Ницше, снова предстоит вернуться? «Имейте только мужество стать теперь трагическими людьми: ибо вас ждёт искупление. Вам предстоит сопровождать торжественное шествие Диониса из Индии в Грецию! Готовьтесь к жестокому бою, но верьте в чудеса вашего бога!» (Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 138–139).

<sup>7</sup> Hermann Diels, Walther Kranz, *Fragmente der Vorsokratiker*, 53 [44], Berlin-West, 1951, t. 1, p. 154.

более близким себе мыслителем: «Сомнение оставил во мне Гераклит, вблизи которого я чувствую себя вообще теплее и приятнее, чем где-нибудь в другом месте. Подтверждение исчезновения и уничтожения, отличительное для дионисической философии, подтверждение противоположности и войны, становление, при радикальном устранении самого понятия «бытие» – в этом я должен признать при всех обстоятельствах самое близкое мне из всего, что до сих пор было помыслено. Учение о “вечном возвращении”, стало быть, о безусловном и бесконечно повторяющемся круговороте всех вещей, – это учение Заратустры могло бы однажды уже существовать у Гераклита».<sup>1</sup> Ницше вторит Гераклиту: «Вы говорите, что благая цель освящает даже войну? Я же говорю вам, что благо войны освящает всякую цель. Война и мужество совершили больше великих дел, чем любовь к ближнему».<sup>2</sup>

Высказывания обоих философов объясняют, почему высший человек пытается захватить, настигнуть Диониса войной. Пройдет ровно сто лет после удавшегося еврипидо-сократовского заговора против власти бога трагедии и царь Александр устремляется на Восток во главе гигантской армии.

Вообразим юного полководца неким сверхчувствительным вакхантом, который *чует*, – на то он и высший человек, читательница, – где надо искать Диониса. И ничем другим не объяснить стремление Александра к Восточному морю – Тихому океану, – это надо понимать исключительно как необоримую, вакхическую жажду Александра «загнать» Диониса в угол континента, откуда богу уже не спастись, как когда-то от враждебного Ликурга, чтобы возвратить Диониса в Европу, а вместе с ним вернуть эллинам утраченный трагический дух. А отчаяние полководца перед Гангом, когда индийские цари выставили на восточном берегу реки огромное войско – это страдание одного из лучших представителей кавказской расы, понявшего, что жестокий бог насмеялся над ним, что

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Ессе homo*. Там же. Т. 2. С. 731.

<sup>2</sup> Ницше Ф. *Так говорил Заратустра*. Т. 2. С. 34.

ему уже не настичь Диониса, что арийцы Европы обречены на долгую агонию:

*«Сражение с Пором охладило пыл македонян и отбило у них охоту проникнуть дальше в глубь Индии. Лишь с большим трудом им удалось победить этого царя, выставившего только двадцать тысяч пехотинцев и двух тысяч всадников. Македоняне решительно воспротивились намерению Александра переправиться через Ганг: они слышали, что эта река имеет тридцать два стадия в ширину и сто оргий в глубину и что противоположный берег весь занят вооружёнными людьми, конями и слонами. Шла молва, что на том берегу их ожидают цари гандраритов и пресиев с огромным войском из восьмидесяти тысяч всадников, двухсот тысяч пехотинцев, восьми тысяч колесниц и шести тысяч боевых слонов. И это не было преувеличением. Андрокотт, который вскоре вступил на престол, подарил Селевку пятьсот слонов и с войском в шестьсот тысяч человек покорил всю Индию.*

*Сначала Александр заперся в палатке и долго лежал там в тоске и гневе. Сознавая, что ему не удастся перейти через Ганг, он уже не радовался ранее совершённым подвигам и считал, что возвращение назад было бы открытым признанием своего поражения. Но так как друзья приводили ему разумные доводы, а воины плакали у входа в палатку, Александр смягчился и решил сняться с лагеря»<sup>1</sup>*

Сказанное объясняет непонятое шестьюдесятью поколениями историков глубокое убеждение Александра в том, что он является жертвой гнева Диониса, что все его несчастья происходят исключительно из-за мстительного характера бога. Об этом факте повествует Плутарх: *«Говорят, что впоследствии Александр не раз сожалел о несчастье фиванцев, и это заставляло его со многими из них обходиться милостиво. Более того, убийство Клита, совершённое им в состоянии опьянения, и трусливый отказ македонян следовать за ним против индийцев [sic.], отказ, который оставил его поход незавершённым [sic.], а славу неполной [sic.], – всё это Александр приписывал гневу и мести Диониса [sic. sic. sic.]»<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Александр и Цезарь, М., 1990. С. 422–423.

<sup>2</sup> Там же. С. 373.

А сейчас нам с тобою, дорогая читательница, остаётся только уверовать в слова одного из последних европейских пророков, ведь в *Рождении трагедии* артист Ницше проявляет себя также и пророком. Он предчувствует, что власть чандал в Европе подходит к концу, что пришло время возвращения Диониса с Востока, и предупреждает об этом: *«Да, друзья мои, уверуйте вместе со мной в дионисическую жизнь и в возрождение трагедии. Время сократического человека миновало: возложите на себя венки из плюща, возьмите тирсы в руки и не удивляйтесь, если тигр и пантера, ласкаясь, прильнут к вашим коленям. Имейте только мужество стать теперь трагическими людьми: ибо вас ждёт искупление. Вам предстоит сопровождать торжественное шествие Диониса из Индии в Грецию! Готовьтесь к жестокому бою, но верьте в чудеса вашего бога!»*<sup>1</sup>

И вот, прошло сто лет после написания этих строк и мы становимся свидетелями редчайшего феномена: Восток начинает, – всего только начинает! – наползать на Запад, и миллионы оккупантов, всё менее и менее миролюбивых, устремляются в Европу, чтобы незаметно осесть здесь. Они являются лишь предвестниками великого противостояния Восток–Запад. Но подобные великие войны – не есть бесцельное и необъяснимое передвижение народов,<sup>2</sup> а желание евразийца достигнуть Диониса, скрывающегося на другом конце континента. А потому настало время задаться вопросами, которые, надеюсь, не будут мне стоить

<sup>1</sup> Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки*. Там же. Т. 1. С. 138–139.

<sup>2</sup> «Только отневшись от знания близкой, понятной цели и признав, что конечная цель нам недоступна, мы увидим последовательность и целесообразность в жизни исторических лиц; нам откроется причина того несопоставимого с общечеловеческими свойствами действия, которое они производят, и не нужны будут нам слова “случай” и “гений”. Стоит только признать, что цель волнений европейских народов нам неизвестна, а известны только факты, состоящие в убийствах сначала во Франции, потом в Италии, в Африке, в Пруссии, в Австрии, в Испании, в России, и что движение народов с запада на восток и с востока на запад составляют сущность и цель этих событий, и нам не только не нужно будет видеть исключительность и гениальность в характерах Наполеона и Александра, но нельзя будет представить себе эти лица иначе, как какими же людьми, как и все остальные» (Толстой Л. *Война и мир*. М., 1993. С. 301–302. Курсив Толстого).

смертоносной «фетвы» от последователя имама Хомейни. А именно: не был ли Магомет той самой натянутой между Землёй и космосом *сверхструной* на которого четырнадцать веков назад «снизошёл» скрывшийся на Востоке Дионис; не завещал ли этот купец из Мекки дионисический дух – бесценный и смертоносный – тем, кто сейчас, подобно фиванским вакхантам, легко и безнаказанно рвет в клочья мягкие, белые и рассыпчатые тела созерцательных, – излишне созерцательных, любовь моя! – западных аполлонических государств.

А главное – не *вслед* ли за своим богом рвутся в Европу эти новые неистовые вакханты: не вернулся ли *уже* Дионис на Запад, принеся с собой свой драгоценный дар – *дух трагедии*. Не стала ли Европа снова местом, где вскоре предстоит распуститься редчайшему и прекраснейшему из цветков Земли – *сверхчеловеку*?

2000–2003 гг.

Париж,

Санкт-Мориц,

Следственный изолятор кантона Basel-Stadt



## СОДЕРЖАНИЕ

Вступление . . . . .	9
<b>Часть первая</b>	
<b>«Последний» человек в набоковском творчестве</b>	19
<i>Глава первая.</i> Детство русского Сократа . . . . .	21
<i>Глава вторая.</i> Борьба слепого учёного с поэзией	41
<i>Глава третья.</i> Творчество александрийского человека. . . . .	68
<b>Часть вторая</b>	
<b>Предшественники и последователи «сократических» героев Набокова . . . . .</b>	97
<i>Глава первая.</i> Теоретики и практики «сократической» доктрины . . . . .	99
<i>Глава вторая.</i> Гротеск Набокова . . . . .	111
<i>Глава третья.</i> Имя им легион . . . . .	129
<b>Часть третья</b>	
<b>«Плоскомания Европы» и борьба с «последним» человеком . . . . .</b>	151
<i>Глава первая.</i> Страна «последнего» человека и её обитатели . . . . .	153
<i>Глава вторая.</i> Творчество жителей «Плоскомании» . . . . .	171
<i>Глава третья.</i> О войне и войнах . . . . .	193
<b>Заключение . . . . .</b>	209
<b>Рагегга . . . . .</b>	221

**Анатолий Ливри**  
**НАБОКОВ-НИЦШЕАНЕЦ**

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Дизайн обложки *И. Н. Граве*  
Оригинал-макет *Л. Г. Иванова*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.  
Издательство «Алетейя»,  
193019, СПб., пр. Обуховской Обороны, 13.  
Тел.: (812) 567-22-39, факс: (812) 567-22-53  
E-mail: [aletheia@rol.ru](mailto:aletheia@rol.ru)  
[www.orthodoxia.org/](http://www.orthodoxia.org/) /aletheia

**Фирменные магазины «Историческая книга»**  
*Москва*, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (095) 921-48-95  
*Санкт-Петербург*, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55.  
Тел. (812) 327-26-37

Подписано в печать 29.06.2004. Формат 84×108<sup>1/2</sup>.  
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 12,6. Тираж 1000 экз. Заказ № 0102.

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии «Реноме»,  
192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 40

**Printed in Russia**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛЕТЕЙЯ» В СЕРИИ

**РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ**

ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

*выпустило в свет:*

**Минувшее, живи!**

Из писем Е. В. Сикорской (урожденной Набоковой)

к Н. И. Артеменко-Толстой

**Русский исход**

Отв. редактор Е. М. Миронова

**Свято-Сергиевское Подворье в Париже:**

К 75-летию со дня основания

**Современники о Вл. Ходасевиче**

Составитель А. Бергер

**Аверинцев С. С.**

«Скворещниц вольных граждан...»

Вячеслав Иванов: путь поэта между мирами

**Адамович Г. В.**

Литературные беседы. 1923–1928. В 2 кн.

Литературные заметки. 1931–1939. В 5 кн.

Одиночество и свобода

Стихи, проза, переводы

Комментарии

**Александров В.**

Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика

**Бонгард-Левин Г. М.**

Из «Русской мысли»

**Букалов А.**

Пушкинская Италия

Пушкинская Африка

**Германн Л.**

Правда о великой лжи. В 2 кн.

**Зарецкий М.**

Шесть опытов о Свободе

**Левит-Броун Б.**

О трудностях веры и легкости безверия:

о смысле, духе и человеке

Рама судьбы

**Ливри А.**

Набоков-нищеванец

**Литаврина М.**

Русский театральный Париж

**Мочульский К.**

Великие русские писатели XIX в.

**Росов В. А.**

Белый Храм на высоких горах:  
очерки о русской эмиграции и сибирском писателе  
Георгии Гребенщикове

Николай Рерих. Вестник Звенигорода. В 2 кн.

**Святополк-Мирский Д. П.**

Поэты и Россия:  
статьи. Рецензии. Портреты. Некрологи

**Степун Ф. Ф.**

Бывшее и несбывшееся

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛЕТЕЙЯ»  
В НОВОЙ СЕРИИ

**ЗАРУБЕЖНАЯ РУСИСТИКА**



*выпустило в свет:*

**Ольга Буренина**

Символистский абсурд и его традиции  
в русской литературе и культуре  
первой половины XX века

**Елена Менегальдо**

Поэтическая Вселенная Бориса Поплавского

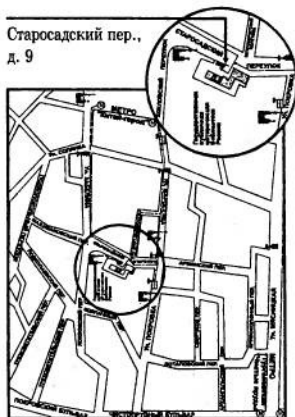
**Карла Соливетти**

Автор и его зеркала

# НОВЫЕ МАГАЗИНЫ «ИСТОРИЧЕСКАЯ КНИГА»

Книги издательства «АЛЕТЕЙЯ»  
по отпускным ценам,  
а также:

- Археология и этнография • Античность и византистика
- Средневековье и Новое время • Запад. Новейшее время
- История Востока • Славянские древности • Россия XVIII века
  - Российская империя в XIX столетии
  - Политические партии начала XX века
- Классическая литература • Россия в изгнании
  - Россия периода 1917–1941 гг.
  - Великая Отечественная война
  - Россия во второй половине XX века
- Политология и социология • Военная история
- История философии • История религий • История искусств



МОСКВА,  
*Старосадский пер., 9*

Тел. (095) 921-48-95

*ежедневно с 11 до 20 часов  
без выходных*

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
*ул. Чайковского, 55*

Тел. (812) 327-26-37

*Понедельник — пятница  
с 11 до 20 часов*

*Суббота с 12 до 19 часов*

*Воскресенье с 12 до 18 часов*

